

АДЫЛ ЯКУБОВ



Нелегко  
стать мужчиной



*Перевод Бориса Балтера*

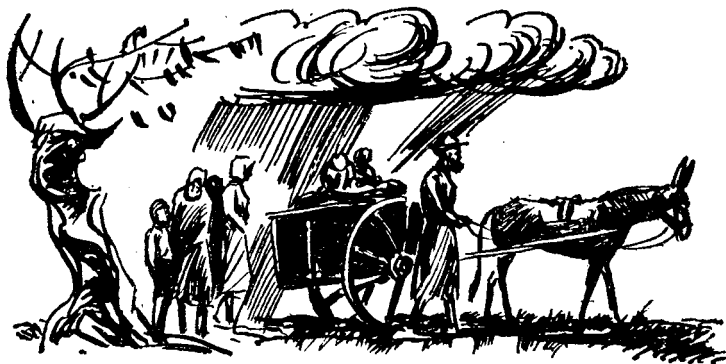


## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Крупные неприятности начинаются с мелких...

— Вставай, хандаляк проспишь,— сказал Кучкар.

Машраб с минуту лежал, ничего не соображая. «Ой, подружка, хандаляк поспел»,— сказала утром Муяссар. Ее голос был похож на голос Кучкара, как пение соловья на уханье удода. Но почему-то именно ее голос стоял в



ушах, и Машраб не мог понять, спит он или уже проснулся.

Кучкар тормозил его, приговаривал:

— Вставай, хандаляк проспишь...

Машраб открыл глаза. В черном провале неба мерцали яркие звезды, в арыке журчала вода. Машраб вспомнил: вечером договаривались, когда созвездие Плеяды достигнет зенита, пойти за хандаляшками. Что такое хандаляк? Круглая дынька-скороспелка. Говоря по совести, хандаляк никто за дыню не считает: так, хандаляшка.

Машраб отбросил теплый тулуп и сел, потирая поясницу. Акмаль-толстяк, которого в другое время пушкой не прошибешь, на этот раз умудрился проснуться раньше Машраба и, сидя у арыка, пыхтя натягивал сапоги.

— Воду проверяли? — спросил Машраб.

— Не думай о воде. Поток совсем слабый. Не размост.

Машраб молча побежал вдоль главного арыка: беда, если по недосмотру поливальщика вода размочит борозды и зальет хлопчатник. До войны поливальщиками работали самые опытные дехкане, но теперь все взрослые и сильные мужчины ушли на фронт и хлопковые поля поливали мальчишки. Ноги после сна были как ватные, спотыкались на неровностях. Машраб низко нагибался, слышал пресный запах воды и влажной земли. Вода тускло поблескивала в бороздах, отражая звезды. Кучкар оказался прав: запруды из дерна и борозды были целы.

Акмаль-толстяк еще обувался: он все делал обстоятельно, неторопливо.

— Скоро ты? — спросил Машраб.

Акмаль ничего не ответил. Его не видно было в темпоте, только слышно было, как он пыхтел.

— Не трогай его, а то до утра будет обуваться. Третий раз переодевает сапог, — сказал Кучкар.

Машраб дрожал не то от знобкого холодка, не то от возбуждения. Он пытался представить, как Муяссар найдет утром у калитки мешок хандаляков...

...Когда Машраб шел на работу, он еще не знал, что хандаляк поспел. Он шел мимо сада Муяссар с надеждой ее увидеть, и кетмень на его по-детски худом плече казался непомерно большим.

— Ой, знаешь, подружка, хандаляк поспел, — сказала Муяссар.

Машраб, вытянув шею, заглянул через дувал. Он думал, что оглохнет — так сильно стучало сердце. Муяссар сидела на дереве и рвала персики, а под деревом бегала Гульчехра и ловила персики в подол платья. Она была очень проворной, несмотря на полноту, невысокого роста и миловидной.

— Подумаешь, хандаляшки, — сказала она. — Подмигни Машрабу Диване, он тебе притащит целый мешок.

— Не говори ерунды... Молчи!.. — крикнула Муяссар.

Гульчехра не собиралась молчать, для нее молчать было самым тяжким наказанием.

— Притворяешься? Сразу видно, что притворяешься, — тараторила она. — Мальчишки для того и нужны, чтобы исполнять наши желания. Влюбился бы твой цөэт в меня... я бы знала, что с ним делать.

Машраб слушал, и его бросало то в жар, то в холод.

Муяссар кинула в Гульчехру персик, но промахнулась. Она затрясла ветку, приговаривая:

— Глупости!.. Глупости!..

Персики градом посыпались на землю. Гульчехра, смеясь, убегала между деревьями. Персик, брошенный Мунсар, попал в ствол черного тутовника над головой Машраба, он вытер с лица липкий сок. Каждое утро он видел, как из-за гор поднималось солнце. Сегодня было как бы два солнца — одно в нем самом, другое появилось над горами, и все сразу преобразилось: воздух вздрогнул, по земле побежали и замерли тени, над большим кишлаком, утонувшим в садах, внизу над долиной за главным арыком, в шеренге белых тополей на берегу с гнездами аистов на вершинах, над зеркальной гладью воды за плотиной — над всем миром пролилось сверкающее тепло. А начало этого тепла было у него в груди. Он прикрыл глаза, и ему показалось, что он парит высоко над садами, — так бывало в детстве, когда он летал во сне... Ощущение полета, как навязчивая мелодия, не покидало его весь день.

Акмаль наконец обулся. Слышно было, как он притопнул ногой, потом сказал:

— Пошли, что ли?

Из глубокого оврага, заросшего ивами, тянуло сыростью. Овраг, расширяясь, переходил в долину, по обеим сторонам которой раскинулся кишлак. Посередине кишлака лежало поле. Его обычно засевали хлопком, но в этом году почему-то посадили на нем дыни, а по краям хандаляк.

Набег на бахчу предложил Машраб. Кучкара не пришлось уговаривать: он сам всегда придумывал, что бы такое выкинуть. А вот Акмаль-толстяк, Акмаль-рохля, Акмаль-недотепа заявил, что не любит ходить по ночам, что по ночам он любит спать. Можно было подумать, что поспать днем он не любит. Машрабу пришлось объяснить ему наедине, почему надо пойти за хандаляком. Акмаль засопел и согласился. Когда он слышал имя Гульчехры или видел девушку, он начинал сопеть. У молчаливого Акмаля сопение было высшим проявлением чувства. Кучкару не стоило объяснять подробностей: он бы не понял. Кучкар не признавал высокой самоотверженной любви, ему обнять девушку было все равно что чихнуть.

Поход за хандаляком придумал Машраб, но возглавил его Кучкар. Машраб не возражал: такое у Кучкара лучше получалось. Босой, в распахнутом на груди халате, Кучкар шел впереди, и на фоне звездного неба время от времени возникали его широкие плечи. Машраба знобило. Он

не знал, что такое воровство. Даже такие обычные удовольствия, как детские набеги на сады соседей, были ему недоступны. Он шел, и ему казалось — каждая тень, каждое дерево готовы его изобличить. Попросту говоря, Машраб боялся, но продолжал шагать во имя любви, во имя Муяссар, которая, ничего не подозревая, в это время мирно спала. Как относился ко всему Акмаль — неизвестно. Он шел где-то сзади, и под его грузным телом трещали ветки и осыпалась под ногами земля.

В долине было светлее. По сторонам темнели бесформенные купы кишлачных садов, острые вершины тополей отделялись от звездного неба, то тут, то там видны были темные силуэты пасущихся лошадей. Где-то за плотиной кричали лягушки, воображая, что поют. Подошли к переулку: он угадывался по теплу, которое исходило от нагретых за день дувалов. Машраб скорее почувствовал, чем увидел, что Кучкар остановился под раздвоенным орешником. Он не успел предупредить недотепу Акмаля, и тот чуть не сбил Кучкара с ног.

— Спишь на ходу? — спросил Кучкар.

— Что я тебе, верблюд, чтобы на ходу спать? — огрызнулся Акмаль.

— Тебе лучше знать, кто ты, — сказал Кучкар. — Учтите, хандаляк сразу за арыком. На берегу растут колючки. Сначала пойдем по арыку, а потом пролезем между колючками. Бахчу охраняет Кур-Шермат... Понял, толстяк?

— О себе думай, — снова огрызнулся Акмаль. — Стоишь здесь, а видать тебя в Мекке. — Акмаль-толстяк имел в виду рост Кучкара. Обычно Акмаль довольно безропотно сносил шутки, но сегодня он был явно не в духе.

— У меня ноги по росту, — сказал Кучкар. — А тебе не советую ложиться на живот — покатишься, как шар... В общем, пошли...

Тополя по обе стороны переулка сливались с дувалами и казались сплошным высоким забором. Кучкар по-прежнему шел впереди. Время от времени он трогал калитку в дувале, и тогда во дворах сонно рычали собаки, а в курятниках тревожно вскрикивали куры. Кучкар это делал просто так, из озорства.

Проулок кончился, и неожиданно открылись бахча и черные вершины гор. Кучкар прыгнул в заросший травой сухой арык и пошел по нему пригнувшись, и между берегами в посветлевшем воздухе двигалась его голова. Потом

все трое легли на берегу и, раздвинув колючки, оглядели поле.

— Дождались, луна взошла, — сказал Кучкар.

— В глазах у тебя луна, от страха, — ответил Акмаль.

Луна действительно взошла. Она еще скрывалась за вершинами гор, но ее рассеянный свет уже пронизывал воздух, и на землю легли мглистые очертания теней. В мертвенно-бледном, голубоватом свете поле лежало покойно и тихо. По краю проходила темная линия садов, а неподалеку от нее стоял одинокий шалаш. Совсем близко прятались в листве хандаляшки. Машраб не помнил, как выполз на поле. Он согрелся во время ходьбы, но сейчас его снова знобило, саднили свежие царапины на лице. Под руку попался хандаляк. Машраб сорвал его. Оторванный кончик треснул, кожу покрывал сетчатый узор — признак спелости. Машраб рвал хандаляки и клал их за пазуху. Они грелись под халатом у голого тела и пахли терпко и сладко. Неподалеку Акмаль и Кучкар расхаживали между грядок, как по бахче своих тетушек. Машраб оглянулся, чтобы предупредить их, но вместо них шагах в двадцати от себя увидел неподвижную фигуру мужчины в вывернутой меховой шапке, с палкой в руке. Мужчина казался особенно огромным, потому что Машраб смотрел на него снизу. Машраб сразу узнал Кур-Шермата. Как только Машраб оглянулся, Кур-Шермат поднял палку, заорал:

— Держи вора!

Все, что произошло потом, Машраб не очень хорошо помнил. Он отбежал к арыку и оглянулся: Кучкар и Акмаль стояли между грядок, а Кур-Шермат, пробежав мимо них, гнался за Машрабом. Машраб рванулся сквозь заросли колючек, упал в арык, и тут же на него навалилось грузное тело.

— Затравил бахчу и бежать? — приговаривал Кур-Шермат. — У меня не убежишь. — Он заломил за спину руки Машраба и одним рывком поставил его на ноги. — Ах, это ты, подлец? — сказал он, только теперь узнав Машраба. — Хандаляшек захотел? Твои сверстники по колено в крови бьют фашистов, а ты колхоз обкрадываешь?

От этих слов белое от лунного света поле показалось черным, глаз Кур-Шермата сверкал от ненависти, и Машрабу страшно было на него смотреть. Второй глаз выбили Кур-Шермату в детстве, во время игры в альчики. С тех пор его прозвали Кур-Шерматом — Одноглазым. Он стоял

над Машрабом в вывернутой шапке, в распахнутом халате и с палкой, похожий на басмача из кинофильма.

— Отвечай, с кем был? Кто твои приятели?! — допрашивал Кур-Шермат.

Может быть, по наивности и потому что не умел врать, Машраб выдал бы Акмаля и Кучкара, но только вчера он написал стихи о шестнадцатилетней девочке-партизанке (он прочел о ней в газете). Девочке отрезали язык за то, что она не выдала фашистам партизан.

— Какие приятели? Нет у меня приятелей... Я был один... — сказал Машраб, и губы его тряслись от озноба.

— Я говорю про тех двух, на поле... Молчишь?! — Кур-Шермат толкнул Машраба в спину, и он побежал по арыку, чтобы не упасть.

Машрабу очень хотелось думать, что допрашивает его не колхозный бригадир бахчи, а офицер-гестаповец. Машраб со связанными руками бежал рысцой по арыку, а Кур-Шермат шел сзади и время от времени подталкивал его в спину.

Машраб попытался взглянуть на себя со стороны. Лучше бы не пытался! Что теперь будет? Бабушка, мать, сестра, жена брата Барно — свои люди: поругают и простят. А что скажет Муяссар? Что скажет ее отец Курбан-ата? Курбан-ата полагал, что победу революции обеспечили два человека: Чапаев на Урале и он, Курбан-ата, в Туркестане. На этом основании он очень придирчиво относился к молодежи и любил повторять: «Я и Чапаев свое сделали, посмотрим, что теперь сделаете вы».

Хуже всего было то, что Машраб сам не мог простить себе своего поступка и теперь просто не понимал, как мог на него решиться. Он шел и думал, что никогда из него не получится настоящего коммуниста.

То ли вышли за хандаляшками слишком рано, то ли в правлении колхоза была срочная работа, но, когда подошли к огромным двустворчатым воротам, в окнах конторы горел свет. Кур-Шермат постучал. Со двора не сразу откликнулся сонный голос:

— Кто там? Чего надо?

В левой половине ворот приоткрылась калитка, показался старик в ватном халате с тусклым фонарем в руке. Он сладко зевнул, распахивая калитку пошире и пропуская во двор сначала Машраба, потом Кур-Шермата.

— Кто в конторе, отец? — спросил Кур-Шермат.

— Не знаю. Наверно, начальство.



— Покарауль его.

— Иди, иди! — Старик поднял фонарь, вглядываясь в Машраба. — Э-э-э... Не сын ли ты Агзама Ячейки? — спросил он. — За что тебя так разделал этот дурень?

Губы Машраба вздрагивали. Он молчал, чтобы не зареветь. Сторож развязал поясной платок, которым были стянуты руки Машраба.

— На, вытрись, — сказал он.

В той стороне, где было правление, кто-то сказал:

— Ладно, ладно... Запри его в амбар. Завтра дожишь Инобатхон. Сейчас некогда.

В говорившем Машраб узнал председателя кишлачно-го Совета Халмата Чавандаза. Председатель спешил: его торопливые шаги замерли в глубине сада.

Кур-Шермат вернулся еще более обозленный. На слова старика:

— Зачем отсекать человеку голову, когда всего-навсего нужно снять тубетейку? — Кур-Шермат ответил:

— Каждый делает свое дело, отец: ты — свое, я — свое...

Кур-Шермат толкнул Машраба в спину, и тот отлетел к стене амбара. Потом Кур-Шермат распахнул низенькую дверь и, пригнув Машраба, ударил его коленом ниже спины. Машраб, спотыкаясь о конскую сбрую, упал на снопы клевера, сложенные в углу амбара. Над его головой под потолком отпечатался черный переплет оконной решетки.

Час назад Машраб был свободным и счастливым, а теперь его заперли в темном амбаре за воровство колхозных хандаляшек. Он сидел удрученный, обхватив руками колени и положив на них голову.

Машраб не помнил, сколько просидел так, когда под окном амбара услышал шаги: тяжелые мужские и легкие женские. Почти одновременно с шагами Машраб услышал голос Барно — жены брата. Ничего особенного: Барно работала бухгалтером колхоза и могла задержаться по работе — война, мало ли что нужно срочно сделать. Машраб не знал, часто ли приходилось Барно оставаться в конторе допоздна, потому что жена брата жила на другом конце кишлака, у своих дальних родственников. Машраба поразило другое: интонация ее голоса, когда она разговаривала со своим спутником. Так Барно разговаривала только с братом то недолгое время, что Машраб видел их вместе, перед тем как Ашраф ушел на фронт.

— Что вы, Халмат-ака, не надо! Что мне там делать в полночь! — певуче растягивала слова Барно. Называя председателя кишлачного Совета Халмат-ака, а не Халмат Чавандаз, она тем самым подчеркивала интимный характер разговора.

— Не откажите, Барнохон! — возразил Халмат Чавандаз. — Очень просил товарищ Эртаев!..

— Ах, вот что... Ну, какое же у него дело ко мне?

Машраб подумал, что Барно заранее знала, от имени кого ее приглашал председатель кишлачного Совета.

— Э, какое может быть дело, Барнохон! Просто посидим, выпьем мусалласа, отведем душу! — сказал Халмат Чавандаз, подчеркивая интимный характер приглашения.

Они вышли на вымощенную кирпичом дорожку, и дробный стук женских каблучков слился, удаляясь, с постукиванием кованых сапог. Машраб вскочил и рванул на себя решетку окна. Но амбар, как и весь дом, где размещалось правление, в прошлом принадлежал крупному баю, и все в нем было сделано прочно, на века.

— Сюда, Барнохон! Пройдем здесь. Не надо, чтобы нас видел сторож, — сказал Халмат Чавандаз, и это было последнее, что расслышал Машраб.

Он повалился ничком на клевер. Горьковато-сладкий запах горчака и мяты напомнил ему другую ночь...

За старым деревянным мостом Машраб, тогда еще совсем мальчишка, поставил с братом в тихой воде сплетенные из тальника ловушки для рыб.

Ашраф сказал:

— Запомни, братишка: мы дети Агзама Ячейки. Я отказался от брони и через два дня уеду на фронт... Я сказал в военкомате, что хочу кровью искупить вину отца... — Ашраф помолчал, потом добавил: — Если он виноват... Понимаешь, братишка, я не могу иначе. Я хочу, чтобы ты, мама, бабушка, сестра, ее дети, моя жена имели право ходить с высоко поднятой головой и быть счастливыми.

Они лежали на плотине, подостлав сено, пахнувшее мятой и горчаком. В камышах плескалась рыба. В гнездах на белых тополях сонно ворочались аисты.

В тот вечер Машраб узнал, что брат сомневается в виновности отца...

Перед тем, как вытащить ловушки и уйти домой, Ашраф сказал:

— Сколько будет продолжаться эта война — пять дней или пять лет?.. По правде говоря, за мать, за вас я спокоен, а за Барно немного боюсь. Не дай бог, если что-нибудь случится. Не могу себе представить жизнь без нее...

Ашраф выронил ловушку, и два сазана, отливая медью, ушли под воду.

Барно была дочерью их дальнего родственника и жила с родителями в Ташкенте. Там Ашраф с ней познакомился. Первый раз Машраб увидел Барно за год до начала войны, когда она приезжала в кишлак к своему дяде. В тот год Ашрафджан окончил Ташкентский транспортный институт и приехал в отпуск.

По совести говоря, Машраб был потрясен красотой Барно и гордился братом. Когда Барно, слегка прищурив большие темные глаза, проходила по улицам кишлака в платье из хан-атласа, в черных туфлях на высоком каблуке, с толстой косой темно-русых волос, над глинобитными дувалами, словно по команде, показывались головы парней, приехавших на каникулы...

Как-то Ашраф дал Машрабу книгу и попросил отнести Барно. Тетушка сказала, что Барно в саду. Она сидела под высоким виноградником с подружками и красила усьмой брови. У каждой девушки было свое зеркальце. Девушки, поглядывая в зеркальце, улыбались, а две наиболее дотошные не торопясь расспрашивали Машраба:

— Кто тебе разрешил зайти в сад?

— Ну-ка, признайся, кто тебя подослал?

Машраб стоял, словно язык проглотил, и не знал, куда спрятать книгу. Выручила его Барно.

— Ты принес книгу, которую я просила, Машрабджан? — сказала она и отчаянно покраснела.

Она взяла книгу, из которой на глазах у всех выпала записка. Барно подхватила ее и под смех девушек убежала. Машраб не очень хорошо помнил, как вернулся домой. На другой день Барно пришла к ним в гости. Когда приятели Ашрафа, собравшиеся в саду, начали петь, Барно потихоньку попросила Машраба:

— Покажи-ка мне ваш сад, Машрабджан!

Она тут же забыла про сад и, притаясь в вишеннике, слушала шуточные песни парней. Она не отпускала от себя Машраба, гладила его волосы, а когда голос Ашрафджана вырывался из общего хора и начинал дрожать, словно Ашраф знал, что его слушает Барно, — начинали дрожать и пальцы девушки...

И еще одним запомнился тот приезд Барно в кишлак...

Барно часто бывала в доме у Муяссар, приходила с другими девушками к ее старшей сестре Зебахон, студентке ТашМИ<sup>1</sup>. В такие дни протекающий через сад Муяссар арык наполнялся яблоками с вырезанными на них инициалами парней. Самые крупные и красивые яблоки были всегда украшены буквой «А». Их пускал в воду Ашраф. Но прежде чем яблоки парней доходили до адресатов, их вылавливали Машраб и Муяссар. Всех «зятьев», которые им были не по душе, они съедали сами, а яблоки полюбившихся им парней передавали девушкам. Каждый раз, когда Барно видела яблоко с вырезанной буквой «А», ее большие ласковые глаза начинали влажно блестеть.

Ашрафджан и Барнохон поженились за несколько недель до войны. Перед отъездом Ашрафа на фронт Барно переехала в кишлак.

Где сейчас брат? Жив ли? Последнее письмо получили от него месяцев пять назад. Он был десантником и намекал в письме, что уйдет на задание. Брат воюет с фашистами, а он, Машраб, обворовал колхозную бахчу... Барно пьет мусаллас с чужими мужчинами, а что скажет Муяссар? Завтра утром Кур-Шермат доложит председателю колхоза Инобат о преступлении Машраба. О нем узнает весь кишлак, и кто помешает людям вспомнить, что Машраб — сын исключенного из партии Агзама Ячейки? Инобатхон умная и добрая женщина, подруга матери, она не подумает о Машрабе плохо, она просто спросит: «Зачем ты это сделал?» А что можно на это ответить?..

Плечи Машраба тряслись, и он прятал лицо в клевер, чтобы не слышно было рыданий.

Однажды уже случилось, что брат долго не писал. А потом пришло письмо: Ашрафджан сообщил, что был ранен в тылу у немцев, попал к партизанам и после выздоровления перешел линию фронта. Может быть, и на этот раз случилось такое? Махира-буви говорила: «Без надежды — один шайтан». Неужели потому, что от брата снова нет письма, Барно потеряла надежду? А может быть, между братом и Барно произошла размолвка, о которой Машраб не знал? Нет, такого не могло быть. Когда домой прихо-

---

<sup>1</sup> Т а ш М И — Ташкентский медицинский институт.

дило одно письмо Ашрафа, — Барно получала три. Она расцветала, прибегала к свекрови, дурачилась с Машрабом и вообще как-то по-особому добрела. Наверно, все дело в Эртаеве. Здоровый, красивый, работавший заместителем председателя райисполкома, Эртаев, как уполномоченный района, руководил кустовыми колхозами и с весны жил в небольшой комнатке при кишлачном Совете. В городе у Эртаева была семья, но он ездил домой очень редко. Молодые женщины-солдатки терялись в догадках: с кем Эркин Эртаев делит свой ночной досуг? Машраб слышал, как они говорили: не может быть, чтобы такой мужчина обходился без женщины. Выходит, они были правы.

Машраб застонал и перевернулся на спину. Где Кучкар и Акмаль? Он не предал их, а они, наверно, спят сейчас по домам и думать о нем забыли. А как там хлопчатник? Может быть, его уже залило водой? Машраб лежал на спине, и мягкий клевер казался ему хуже колючки.

Он лежал и прислушивался к ночным шорохам в саду. Показалось, что кто-то постучал в окно. Машраб тихонько встал и осторожно приблизил лицо к решетке.

— Дивана, где ты? — шептал Кучкар.

— Я здесь!

— Так я и знал! Мы тебя везде искали... Не знаю, что делать: на двери замок больше лошадиной головы. Как быть, Дивана?

— Проверьте хлопчатник, как бы его не залило. Обо мне не беспокойтесь. До утра посижу, а утром выпустят.

— Ты в своем уме — сидеть до утра? Утром тебя потащат в правление, и мы все пропали, — забывая об осторожности, сказал Кучкар.

— Испугался? Боишься, что выдам? — сказал Машраб. Он хотел добавить: иди к своему отцу и поучись у него, как сводничать, но горло перехватило от обиды, и Машраб умолк, к тому же он вспомнил, что Чавандаз не родной отец приятеля и Кучкар сам его не любит.

Рядом с Кучкаром молча сонел Акмаль. Они о чем-то посоветовались вполголоса, потом Кучкар сказал:

— Смотри не засни. Мы сходим поищем топор. Вообще не волнуйся: вырчим...

Кучкар исчез так же внезапно, как и появился. Даже неуклюжий Акмаль на этот раз действовал без всякого шума. Во всяком случае, сколько Машраб ни напрягал слух, он ничего не слышал, кроме заливистого, с придыханием храпа сторожа.

Машраб раскаивался в том, что заподозрил друзей в неверности. Правда, Машраб и Кучкар уже давно недолюбливали друг друга. Эта неприязнь обострилась в прошлом году, когда не был открыт десятый класс и Кучкар с Акмалем стали работать в колхозе, а Машраб учился в девятом классе. Этой весной Машраб тоже начал работать в колхозе в новой бригаде, которую организовали учителя. Кучкар, всегда высмеивавший пристрастие Машраба к книгам, после этого стал лучше относиться к Машрабу, хотя по-прежнему не без ехидства называл его Машраб Дивана. При всей горечи, которую испытывал Машраб, он не без гордости подумал о том, что утер нос самому Кучкару, проявив волю и мужество. Ничего не значит, что он не такой сильный, как Кучкар и Акмаль: в человеке главное не физическая сила, а сила духа. После того, что сегодня произошло, даже Кучкар не посмеет думать о нем, как о хлюпике, умеющем только стихи сочинять. Как ни тяжело было Машрабу, но после разговора с Кучкаром он проникся к себе особым уважением.

Машраб лежал на клевере, прислушивался, стараясь из всех сил не заснуть.

На этот раз Машраба разбудил Кур-Шермат:

— Хорошо устроился! Как на курорте! А ну, вставай, ворюшка!

Солнце только что взошло, и из-за дувалов слышалось бляенье баранов, кудахтанье кур, брань женщин. Какая-то женщина кричала:

— Держи теленка, чтоб тебя земля проглотила!..

Машраб шел далеко впереди Кур-Шермата, будто не имел к сторожу бахчи никакого отношения: просто идут себе в одном направлении два совершенно посторонних человека, — это на случай встречи со знакомыми. К счастью, улица кишлака была пустынной.

Бахча зеленым ковром поблескивала под лучами солнца. Солнце уже пригревало, и сладковатый аромат дынь пронизывал воздух. В листьях скопилась роса, каждый из них словно изумрудная чаша, полная хрустальной воды, — возьми и пей. Между листьями проступали, греясь на солнце, сетчатые бока дынь: знаменитые басвалды, америйские, кукча с надтреснутыми плетями. Они прошли мимо грядок с дынями и вышли к сухому арыку, где росли хандаляшкки. В зелени зияли развороченные грядки, разо-

рванные плети путались под ногами, сорванные хандалаяшки валялись тут же, в междурядье. Машраб смотрел и не верил, что он успел ночью за какие-то полчаса так разворошить бахчу. Сорваны были не только хандалаяшки — зияли пустотой близкие к арыку гряды дынь. Но ни Акмаль, ни Кучкар дынь не рвали — это Машраб очень хорошо помнил. Он видел их в последний раз совсем в другом месте. Неужели они вернулись на бахчу уже после того, как его поймал Кур-Шермат? Машраб был так расстроен видом развороченной бахчи, что не обратил внимания на следы ишака между гряд.

— Видишь, что наделал, подлец! — Кур-Шермат схватил Машраба за подбородок. — Теперь скажешь, кто твои приятели? Молчишь? Значит, ты один все это натворил? Один и ответишь, раз молчишь. — Кур-Шермат бросил под ноги Машраба черный шерстяной мешок. — Собирай хандалаяк! Клади вместе с плетями, ворюга несчастный!

Машраб собрал почти полный мешок.

— Давай поднимай и неси! — сказал Кур-Шермат и помог Машрабу взвалить мешок на плечи.

Больше не было смысла делать вид, что он не имел никакого отношения к Кур-Шермату, все равно никто бы не поверил. Машраб сгибался под тяжестью мешка — с такой поклажей далеко не убежишь, — а Кур-Шермат шел след в след за его спиной да еще покрикивал:

— Умел воровать, умей и ответ держать!

Машраб шел, стиснув зубы, и зло думал: «Сам ты вор и басмач!» Машраб даже не подозревал, как близок он был к истине: пока Машраб, обливаясь потом и спотыкаясь, шел по пыльной улице кишлака, по дороге в город шагал ишак Кур-Шермата, нагруженный дынями.

В этот час люди спешили на работу. Навстречу то и дело попадались старики верхом на ишаках, покрикивая «хык, хык», и ноги стариков почти касались земли. В тени дувалов шли женщины и девушки с кетменями на плечах, и Машраб слышал их колкие реплики:

— Мальчишку вместо ишака приспособил.

— Совсем замучил бедняжку, дурак одноглазый.

Одна женщина перешла дорогу и заглянула Машрабу в лицо.

— Смотрите, это же сын Ячейки...

Машраб шел, не поднимая головы, думая об одном: скорей бы дойти до правления колхоза. Правление уже

было совсем близко, подняв глаза, можно было увидеть массивные ворота, но дойти до них Машрабу не довелось: справа в урюковой роще он услышал веселый и звонкий смех Гульчехры.

— Ой, Муяс, смотри — Дивана!

Пальцы Машраба разжались, и мешок с глухим стуком ударился о землю. Машраб вскинул голову. За арыком, чуть впереди Гульчехры, стояла Муяссар. Ее брови дрогнули и поползли вверх от изумления.

Гульчехра хохотала, а хандаляшки из лопнувшего мешка покатились к арыку.

— Смотри, хандаляки... Бедняжка ходил за хандаляшками, — говорила Гульчехра и, чуть не падая от смеха, обнимала Муяссар.

Машраб озирался по сторонам, словно попавший в петлю необъезженный жеребенок. Он снова украдкой посмотрел на Муяссар, ища у нее сочувствия. Но в широко раскрытых глазах девушки, в выражении ее лица Машраб уловил оттенок брезгливости. А может быть, ему так показалось, потому что он сам себе был противен в эту минуту.

— Полюбуйтесь, товарищ комсорг, вот они, хандаляки, которые комсомольцы растили для госпиталя!

Это сказал Кур-Шермат. Муяссар мельком взглянула на него и тут же снова повернулась к Машрабу.

— Ты, ты... ты знаешь, что натворил? — Она задыхнулась и, не договорив, побежала в урюковую рощу, и ее яркое платье мелькало между деревьями.

Гульчехра бежала за ней, и на дороге звенел ее веселый голос:

— Подруженька, куда бежишь? Где горит?

Кур-Шермат перестал улыбаться.

— А ну, подбери! — сказал он и ткнул пальцем на хандаляки. — Это тебе не урожай с бабушкиной бахчи. Они выращены в поте лица, негодяй!

— Не буду, хоть застрели на месте — не соберу!

— Соберешь!

Кур-Шермат схватил Машраба за шиворот и стал клонить к земле. Машраб изо всех сил цеплялся за его халат. Сзади послышался глуховатый, мягкий, такой знакомый и такой ненавистный сейчас голос:

— Машрабджан?

Кур-Шермат отпустил его. Барно, в платье из черного атласа, которое очень шло к ее полноватой фигуре, с бе-



лым, почти без загара лицом, с выражением тревоги в темных глазах, подбежала к ним.

— Что случилось, Машрабджан? — Ноздри у нее расширились; тяжело дыша, она смотрела то на Кур-Шермат, то на Машраба.

Кур-Шермат неловко прокашлялся, сказал:

— Видите, что наделал, глупыш! Ночью полез на бахчу и все там перевернул...

Барно сжала губы, красивые глаза ее сверкнули гневом.

— Неужели... из-за каких-то недозревших хандаляшек можно так оскорблять?! — резко спросила она.

— Но как же быть, ападжан? Сами понимаете, добро не мое...

— Все понимаю. Немедленно отпустите его!

— Что же будет, ападжан?

— Ничего! Я сама за все отвечу. Если нужно будет, поговорю с товарищем Эртаевым...

Машраб, потрясенный неожиданным появлением Барно, молчал, но теперь сжал кулаки и выкрикнул:

— Не нужно мне ваше заступничество! — Он запнулся. Барно с недоумением смотрела на него. — Не хочу, чтобы вы просили за меня Эртаева! Он негодяй и распутник! Сами пользуйтесь его помощью! — выкрикнул Машраб, и оттого, что эти беспощадные слова он выкрикнул в лицо любимой невестке, его горло перехватила спазма. Машраб перепрыгнул через арык и побежал в рощу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Гульсум-апа ждала Машраба. В это время он уже приходил с ночного полива. Но вместо сына пришел сторож правления и сказал, что ее вызывает Эртаев.

Сторож ушел, а Гульсум-апа с минуту стояла в раздумье. Она снова вспомнила слова мужа: «Не верь Эртаеву». К сожалению, сам он до последних дней верил молодому красноречивому пареньку с черными горячими глазами.

Месяц назад Эртаев уже вызывал ее и от имени районо поручил выполнять обязанности директора школы, которого призвали в армию. Зачем она понадобилась теперь? В тот раз Эртаев был с ней предельно вежлив и предупредителен, как бы стараясь подчеркнуть, что переменившие-

ся обстоятельства не повлияли на его отношение к ее покойному мужу и к ней самой.

После того как долгое время Эртаев избегал семью своего бывшего начальника, его обращение показалось Гульсум-апа странным, и она до сих пор думала: с чего бы это?

Гульсум-апа достала из сундука цветастое платье, не очень новое, но лучше того, в котором она была. Голову повязала косынкой дочери Мастуры и мельком, но внимательно оглядела себя в зеркале, поправила выбившиеся из-под косынки волосы, заметила, но без всякой горечи, что за последний год стала быстро стареть. Она прикрыла на подносе завтрак Машрабу и вышла из дому. Шла по улице и продолжала думать о том, зачем ее вызывает Эртаев. Возле сросшейся орешины из переулка вышли Кучкар и Акмаль. Рубашка у Кучкара вылезла из-под ремня, его густые курчавые волосы растрепались, а в странных желтовато-голубых глазах была какая-то тревога. Акмаль-толстяк, которому обычно бывало море по колено, тоже был встревожен, хмурился и все время отводил глаза.

— Здравствуйте! Куда путь держите, молодые люди, и что у вас случилось? — спросила Гульсум-апа. Она смотрела то на одного, то на другого, и ее наметанный глаз учителя уловил что-то неладное. — Где Машраб?

— Машраб? — Кучкар почесал голову, кашлянул. — Он не пришел домой?

— Нет. Откуда вы идете? С поля?

— Идем-то мы с поля... — начал было Кучкар, пряча глаза.

— Э, брось молоть чепуху, — решительно заговорил Акмаль. — Ходили в правление, там сказали, что Машраб сбежал...

— Куда сбежал? Зачем ему бежать?

— Ну, ночью мы ходили за хандаляками. Ну, словом, Машраб попался.

— А потом? Его арестовали?

— Да, было так, но сейчас мы узнали, что он удрал, — сказал Кучкар и торопливо добавил: — Мы еще ночью хотели его освободить — не вышло!

Больше не надо было ломать голову, зачем вызывает Эртаев. Конечно, попался ее витающий в облаках Машраб, а не этот сорвиголова Кучкар. Кто станет связываться с пасынком председателя кишлачного Совета Халмата Ча-

вапдаза? Гульсум-апа смотрела на Кучкара, и горькая улыбка застыла в уголках ее губ.

— Нет, будь я проклят! — неожиданно выкрикнул Кучкар.

— Все будет хорошо, — сказала Гульсум-апа. — Идите и занимайтесь своими делами. Помните, за полив хлопчатника отвечает школа, а это дело доверено вам.

Гульсум-апа свернула в проулок, а Кучкар и Акмаль смотрели ей вслед. Она шла, сосредоточенно хмурия брови, с высоко поднятой головой.

Гульсум-апа не боялась предстоящего разговора с Эр-таевым: ну, сколько хандаляков могли сорвать мальчишки? Ее беспокоило отсутствие Машраба. Она хорошо знала болезненную стыдливость сына и его самолюбие. Она всегда со страхом думала: как мальчик будет жить со своей прямолинейной честностью и обостренной совестью? Она гордилась сыном, так непохожим на остальных ее детей, и одновременно боялась за него.

— Э, салам, ападжан!

У двустворчатых ворот правления стоял Камил Джалалов, в линялой гимнастерке и в больших стоптанных сапогах с потертыми кирзовыми голенищами. Правая рука его, с подвязанным деревянным лубком, висела на груди на поясном платке. На правой стороне гимнастерки алел орден Красной Звезды, на левой — искрились на солнце две медали. Когда Гульсум-апа встречала Камилу, у нее всегда теплело на сердце. Камил был первым вернувшимся с фронта живым и с орденом, как бы напоминая малове-рам, что на войне не всех убивают.

— Салам, Камилджан, салам!

— Здравствуйте, ападжан. — Камил улыбался, и на его скуластом веснушчатом лице бросались в глаза совсем мальчишеские ямочки.

— Как рука? Заживает рана?

Камил потрогал пальцы, видневшиеся из-под повязки, слегка пошевелил ими, сказал:

— Кто знает, что будет с рукой. Разрывная пуля. Доктора хотели отрезать, но я не дал... Пойдемте, а то без нас собрание начнут. Между прочим, можете меня поздравить — выбрали парторгом.

— Поздравляю, дорогой! Поздравляю!

Камил неловко протянул ей левую руку.

— Извините, — сказал он и покраснел. Как будто был виноват в том, что правую руку ему искалечили.

— Не гневи судьбу. Единственная мечта матерей — чтобы их сыновья вернулись живыми.

— Так это же матерей, ападжан, — грустно сказал Камил и снова пошевелил высохшими пальцами.

— О каком собрании ты сказал? — спросила Гульсум, проходя в ворота правления. Она шла по мощенной кирпичом дорожке чуть впереди Камила.

— Товарищ Эртаев решил провести собрание кишлачного актива.

Кабинет председателя кишлачного Совета был полон народа. Вряд ли эти люди собрались здесь из-за того, что Машраб воровал ночью хандаляки. После пережитого напряжения у Гульсум разболелась голова. Как только Гульсум и Камил вошли, Эртаев встал, опершись о стол крупными руками с холеными белыми пальцами.

— Пожалуйста, проходите сюда, — сказал он Гульсум, указывая на единственный свободный стул рядом с Барно.

Камил прошел к столу и сел на оставленное ему место.

— Если не возражаете, начнем, — сказал Эртаев. Он смотрел на Гульсум, и получилось так, как будто он спрашивает у нее разрешения начать собрание.

Эта подчеркнутая любезность вновь насторожила Гульсум. Усаживаясь рядом с Барно, Гульсум наклонилась к ней:

— Здравствуй, милая!

— Спасибо, и вам многих лет здоровья...

Барно посмотрела на нее, и Гульсум увидела в слегка прищуренных глазах невестки, в ее круглом и белом лице с плотно сжатыми припухлыми губами отчужденность и неприязнь. «Что с ней?» — подумала Гульсум и сама себе ответила: «Мало ли что может быть у молодой женщины, от чего портится настроение?» Гульсум успокоилась и огляделась.

За столом рядом с Эртаевым сидели председатель колхоза Инобат и Камил, а на диване у окна с независимым видом расположился Халмат Чавандаз и рядом с ним, ближе к столу, — Курбан-ата. Всегда, на всех собраниях, сколько помнит Гульсум, он сидел рядом с начальством. Старый Курбан-ата уже давно утратил свое бывшее значение, но своим привычкам не изменил и по-прежнему на любых собраниях садился на почетное место. Курбан-ата сидел строго и прямо, в большой милицейской фуражке на голове и с плотно набитой полевой сумкой на коленях,

Эту полевую командирскую сумку Гульсум помнила столько же, сколько помнила Курбана-ата.

Потом Гульсум принялась разглядывать Эртаева. Когда-то тонкий и стройный, он пополнил, раздался в плечах. Под столом видны были до блеска начищенные хромовые сапоги, белая шелковая рубашка с нагрудными карманами ладно облегал его широкую грудь и красиво сочеталась с синими шевиотовыми бриджами с красным кантом, широкий командирский пояс из желтой кожи плотно стягивал полнеющую талию. Рядом с ним особенно убого выглядели вылинявшая гимнастерка и стоптанные кирзовые сапоги Камила. Гульсум стала внимательно прислушиваться к словам Эртаева. Он упрекал председателя колхоза Инобатхон в том, что та превысила план, посеяв шестьсот гектаров зерновых. С этого момента Гульсум слушала все особенно внимательно. Сначала получалось так, будто Эртаев корит Инобатхон за превышение плана и увеличение фронта работы. Но когда Инобатхон спросила:

— Разве плохо, что мы хотели дать стране, кроме хлопка, еще и побольше хлеба? — Эртаев ответил:

— Кто вам говорит, что плохо? Умели брать обязательства — умеете их выполнять. Я говорю о том, что мы многое на словах готовы сделать для фронта. А на деле? На деле не убрано еще и одной трети зерна, а с вывозкой его на заготпункты обстоит еще хуже...

— Весной, когда мы брали обязательства, в колхозе еще были мужчины. — Инобат развязала цветастый платок и нервным движением провела по горлу рукой, словно ей не хватало воздуха. — Когда брали людей в трудовой батальон, я просила оставить хоть таких тружеников, как Эшмат-ака...

Халмат Чавандаз с места оборвал ее:

— Эшмат-ака да Ташмат-ака... Сколько можно об этом помнить? Обязательства выполнять надо? Надо! Об этом и говорит товарищ Эртаев... С людьми у ваших соседей не лучше, а план они выполняют.

— И мы выполним! — Курбан-ата вскочил со своего места и поправил на голове фуражку. — Товарищ Чапаев никогда не спрашивал, сколько беляков... Товарищ Чапаев спрашивал: где белые? Не надо считать трудности. Чем их больше, тем лучше.

— Молодец, ата, — сказал Эртаев и заплодировал.

Другие тоже хлопали в ладоши и улыбались. Курбан-ата снова поправил фуражку, готовясь произнести речь,

по Эртаев попросил его сесть, ласково положив руку на его плечо.

— Будет Инобатхон обижаться за то, что советская власть призвала на фронт нужных колхозу людей, или не будет — положение не изменится. Хлеб убирать и сдавать государству надо. К тому же из колхоза не только уходят... Наш новый парторг, замечательный сын нашего народа, герой Великой Отечественной войны Камил Джалалов... — Эртаев увидел, как Камил опустил голову и как у него покраснели уши, но продолжал: — Вам нечего стыдиться, Камилджац, моих высоких слов. Я говорю то, что мы все думаем. Вы настоящий герой, и мы гордимся вами. Мы надеемся, что вы внесете в работу боевой дух наших славных фронтовиков и обеспечите решение стоящих перед нами задач. — Эртаев уловил нетерпеливое движение присутствующих, сказал: — Минуточку, еще один вопрос.

Он взял из рук Барно какую-то бумажку, пробежал ее глазами.

— Дело вот в чем, — сказал Эртаев. — Руководители района, учитывая нехватку людей в колхозе, решили направить в наш кишлак четырнадцать эвакуированных семей. Всего тридцать два человека.

— Целый взвод! Когда к Чапаеву приходило пополнение... — Курбан-ата поучительно размахивал указательным пальцем, но Эртаев снова, на этот раз нетерпеливо, прервал его.

— Однако есть одно но... — сказал он. — Среди гостей имеются эвакуированные из Ленинграда... Попросту говоря, больные женщины и дети, которые перенесли двухлетнюю блокаду. Почему их направили к нам? Сейчас нет ни курортов, ни санаториев. У нас как-никак горный воздух, фрукты, овощи. Правильно я говорю, Гульсум-апа?

От этого прямого и неожиданного обращения к ней Гульсум немного растерялась.

— Правильно... Только почему вы это говорите мне? — сказала она.

— Гостям надо будет отдать лучшие комнаты, если возможно, и свои гостиные... Среди несознательных, возможно, будет недовольство. Вы, Гульсум-апа, пользуетесь авторитетом и должны заранее провести работу среди населения...

— Вы о нас думаете хуже, чем мы того заслуживаем. Мы можем себе представить, что значит перенести блокаду. У меня нет хороших комнат, но они есть у моей мамы,

и она их уступит приезжим. Я думаю, так поступит каждый.— Гульсум покраснела, пытаясь улыбкой смягчить резкость слов.

Присутствующие сочувственно молчали, а Эртаев сказал:

— На этот раз меня меньше всего интересует, что вы думаете. Надо, чтобы приезжих встретили и чтобы от них не поступало жалоб. Поработать с населением мы поручаем вам. Кроме того, необходимо создать комиссию по встрече гостей.

По его словам, по взгляду Гульсум поняла, что вежливая любезность Эртаева — сплошное притворство.

Она вспомнила о Машрабе, когда увидела, как Барно пошла к выходу. Гульсум вышла за ней. Невестка работала в правлении и могла знать подробности того, что произошло. Гульсум решила не обращать внимания на неприязнь невестки, ни разу не взглянувшей на нее во время собрания. Сейчас Барно тоже старательно отводила глаза.

— Что с тобой, милая?

— А что? Ничего особенного!

— Слышала, что натворил Машраб?

— Не только слышала, даже видела. Я поражена, апа. Я видела, как его тащил сторож, подошла, чтобы заступиться, а он нагрубил мне и убежал. Я хочу предупредить: пусть никто не чувствует себя моим хозяином. Я никому не позволю за мной следить и указывать, как мне жить...

— Не знаю... Возможно, Машраб поступил, как мальчишка. Я поговорю с ним. Пожалуйста, не думай, что кто-то из нас будет тебя притеснять.

Гульсум увидела выходящую из кабинета Инобат и подошла к ней.

В больших, неуклюжих сапогах, с почерневшим от загара обветренным лицом, Инобат выглядела постаревшей и очень усталой.

— Инобат, милая, как дела?

— Спасибо, сами слышали...

— Не обижайтесь, большой человек!

— Да, я понимаю. Он ведь тоже заботится не о себе, а о фронте,— сказала Инобат.— Как у вас дела? Давно уже не была в вашей бригаде.

Гульсум-апа засмеялась:

— А у нас то же самое — не хватает людей.

— Знаю. Иначе давно бы забрала трех соколов в степь.

— Что же я тогда буду делать? Они одни справляются с поливом.

— Справляются с поливом или...— Инобат весело рас- смеялась, ее белые красивые зубы молодили усталое лицо.— Вы уже, наверно, слышали, что натворил Машраб?

— Да, мне только что сказали...

— Пока я пришла, успели доложить Эртаеву. Я как следует отругала бригадира бахчи.

— Не знаю, что и сказать.

— Э, бросьте, апа! Разве мы не были девчонками? — Карие глаза Инобат заискрились. Она пошла к воротам, посмеиваясь и громко похлопывая плетью по голенищам сапог.

Хорошо поговорили подружки. Вроде бы ничего и не сказали друг другу, а на душе Гульсум стало хорошо и покойно, как давно уже не было. За последние годы пришлось пережить столько невзгод, что Гульсум-апа порой не верила, что когда-то и она была девчонкой. Успокоенная, она пошла к Камилу, которого назначили председателем комиссии по встрече гостей.

Машраб лежал на балахане — двухэтажном навесе с плоской земляной крышей — и вот уже пять часов изучал потолок. Он залез сюда ранним утром, а сейчас полдень, и на сухом зеленом клевере лучи солнца рассыпаны, как золотистая солома. На потолке, среди засохших, сморщенных шкур, висели мешочки с куртом, напзанные на штку, словно бусы, стручки красного перца, гирлянды сушеных персиков, несколько пучков базилика и еще что-то. Все это «большое хозяйство» бабушки Машраб успел хорошо изучить. Милая Махира-буви, за свой век ей не раз пришлось голодать, и она собирала каждую косточку, каждую сухую урючину, чтобы не знали голода ее дети и внуки. Среди этого съестного царства Машраб вспомнил, что не ел со вчерашнего вечера. Но он так устал и так был расстроен, что не хотелось ни есть, ни шевелиться. Даже услышав голос матери, которая пришла к бабушке, наверно разыскивая его, Машраб еле заставил себя выглянуть в окошечко, настолько все было ему безразлично.

Бабушка сидела на корточках на берегу арыка и умывалась, а Гульсум-апа стояла возле нее. Прежде чем ответить на вопрос дочери, где может быть Машраб, Махира-



буви провела мокрыми руками по белоснежным волосам, вытерла лицо кончиком платка и встала.

— Что ты, доченька, так беспокоишься? Может быть, что-то случилось? — спросила она.

— Нет, мама, просто он сегодня домой не приходил.

— Если не приходил, значит, где-то ходит. До чего ты, доченька, беспокойная, до чего беспокойная... — Слово «доченька» она произносила недовольно, с упреком. Потом они — мать и дочь — взяли за руки Фатиму и Зухру, прибежавших из сада, и, перейдя улицу, прошли во двор.

Теперь, чтобы их видеть, Машрабу надо было перейти к окошку на другой стороне балаханы. Машраб помедлил, с минуту смотрел вдаль. Из окошка были видны не только ближние сады, но и дома, расположенные по ту сторону долины, склоненные над плотиной ивы, две сросшиеся орешины и белые тополя с гнездами аистов, похожими на перевернутые тандыры. А за долиной, за садом Муяссар, начинались ровные хлопковые поля. Машраб почему-то вспомнил раннюю весну, когда старые учителя во главе с Азизом-домуллой на волах пахали землю, а мать варила на всю бригаду похлебку. В это время старшеклассники бороновали на ишаках, запряженных в деревянные бороны.

Машраб снова услышал голоса матери и бабушки. Теперь женщины разговаривали во дворе.

— Неужели я пожалею угол для этих бедных вдов? — недовольно говорила буви. — Только бы сыновья и внуки вернулись живыми, а комнаты найдутся для всех.

Машраб заинтересовался: какие бедные вдовы? Кто должен приехать и почему о них беспокоится его мать? Он перешел к окну на улицу.

— Вы возьмите в комнате дяди сюзане. А я пришло с ребятами кое-какие вещи, — выходя на улицу, говорила Гульсум-апа, а Махира-буви провожала ее до калитки.

Все, что услышал Машраб, было настолько неожиданно, что он на время забыл о собственных делах, теряясь в догадках: кто бы это мог приехать?

Вскоре с поля вернулась жена дяди с кетменем на плече. А вслед за ней во двор ввалились Кучкар и Акмаль-толстяк. Кучкар нес на спине платяной шкаф, подложив на плечи курпачу.

— Посторонись, посторонись! — покрикивал Кучкар, неуклюже поворачиваясь, чтобы пройти в дом. За ним шел Акмаль, на его спине лежал стол Машраба.

Машраб с беспокойством подумал: где книги, которые

лежали в шкафу, и тетради с дневниковыми записями, которые были в ящиках стола? Эти тетради Машраб прятал от всех. Неужели их нашли? А может, их взял Кучкар? При этой мысли Машраб покрылся потом и у него шевельнулись волосы на голове. Он уже готов был кинуться с балаханы во двор, но в калитку вошли Муяссар и Гульчехра. Муяссар несла два стула, а Гульчехра — постель.

Кучкар и Акмаль, мешая друг другу, втаскивали в комнату шкаф и стол, Муяссар то появлялась на пороге, то снова уходила в комнату. Гульчехра с женой дяди подметала двор, а бабушка то приносила из арыка воду, то возилась подле очага, от которого тянуло дымком и пахло похлебкой.

На улице поднялся какой-то шум. Машраб снова подошел к окну. В конце переулка показались в сопровождении толпы Камил и Азиз-домулла. Они раздвигали толпу, указывая дорогу арбе на высоких, выше человеческого роста, колесах. Первая арба, с молодыми женщинами, проехала мимо бабушкиного дома. Парнишка-арбакеш, сверстник Машраба, сидел между двумя женщинами, которые чему-то смеялись, а лицо арбакеша расплывалось в улыбке. Вторая арба, на которой ехали женщины с детьми, тоже не остановилась. Женщина с худым лицом, прижимая к себе мальчика, громко сказала:

— Посмотри, Володя, сколько яблок!

Другая женщина поправила:

— Это не яблоки, а персики.

Какой-то мальчик настойчиво повторял, удивляясь, что никто не разделяет его изумленного восторга:

— Мам, смотри! Да смотри же — аисты! Видишь, гнездо аиста. Да смотри же!

Машраб провожал глазами арбу, пока она не скрылась за поворотом. Он уже догадался по истощенным лицам детей и женщин, что за гостей ожидала мать. В переулке возле калиток стояли старики, старухи, дети. Слышались ренлики:

— Сразу видно — голодные...

— Лица совсем желтые.

— Пожелтеешь. Два года голодали и мерзли.

— Бедные наши дети, когда все это кончится?

Машраб прозевал, когда в переулок въехала третья арба. Он увидел ее уже возле дома. Гульсум-апа впереди лошади подошла к калитке. На арбе лежала изможденная женщина и возле нее, держа женщину за руку, сидела

девочка. Машрабу показалось, что ей лет десять, но потом он узнал, что девочка была ровесницей Муяссар, просто от истощения она казалась моложе. На арбе сидели еще женщины и дети, но Машраб никого, кроме этих двух, не замечал. Девочка смотрела по сторонам огромными встревоженными глазами, как будто искала у людей сочувствия. Восковое лицо матери казалось мертвым, и голова ее моталась от толчков. Девочка придерживала ее свободной рукой. Арба остановилась возле калитки. Гульсум-ана встала ногой на колесо и наклонилась к женщине.

— Серафима Федоровна, приехали! — сказала она.

Женщина открыла и снова закрыла глаза.

— Сейчас, сейчас, — засуетилась девочка. — Мама, мы уже приехали. Слышишь? Приехали. — Девочка посмотрела вокруг запавшими глазами, сказала: — Она сама не встанет, если ей не помочь.

Возле арбы суетились Кучкар и Акмаль. Они сгружали узлы, а девочка, просунув под плечи и голову матери тонкую, как плеть, руку, приподняла ее. Женщина закашляла. Она кашляла долго и надсадно, а девочка все выше поднимала ее голову и плечи, пока женщина не села. Бабушка протянула ей пиалу с чаем. Женщина отпила глоток, кашель утих, и, опираясь на протянутые руки, она тяжело спустилась на землю. Арба тронулась, и женщины с детьми, оставшиеся на арбе, прощались, будто уезжали на другой конец земли:

— До свидания, Серафима Федоровна.

— Прощайте.

— Выздоровливайте!

На лицах приезжих была встревоженность и грусть. Причину этого Машраб понял много лет спустя. Людей, выросших под другим солнцем, среди другой природы, эти домики с плоскими крышами, укрытые в садах, узкие кривые переулки с глухими дувалами, смуглолицые люди, говорящие и кричащие что-то на непонятном гортанном языке, ошеломляли, вызвали тревогу.

Машраб бросился к окошечку, выходящему во двор. Женщину уже увели под руки в дом. Кучкар прислонился к столбу айвана.

— Так. Одно дело сделано, — сказал он. — Куда все же девался Машраб?

Акмаль пожал плечами. Из дома вышли Муяссар и Гульчехра, и тотчас за ними появилась Гульсум-ана с приезжей девочкой. Русые, почти белые волосы девочки,

распущенные по плечам, скрадывали худобу. Таких волос Машраб сроду не видел.

— Мама ее заснула, а вы покажите Ларисе сад,— сказала Гульсум-апа.

— Пойдемте в наш сад,— сказала Муяссар.

На террасу вышла Махира-буви, сказала:

— Эй, сынок Кучкарджан, залезь-ка на балахану, достаешь одну касу курта. Приготовлю-ка я большой куртава, пока она спит.

Все, что произошло потом, произошло так стремительно, что никто и опомниться не успел. Во дворе услышали вопль Кучкара:

— Нашел вора! — и вслед за этим из окна балаханы вылетела шиала и, долетев до земли, разлетелась вдребезги. Бабушка успела сказать:

— Это к счастью!

Тут появилась спина Кучкара. Он пятился задом и за ноги тащил с балаханы Машраба. Затем подхватил Машраба в охапку и скинул вниз.

Машраб стоял посредине двора и затравленно озирался, белый от пыли, с сухими листьями клевера в волосах. Стоял, оглохнув от смеха. Смеялись все, указывая на него пальцем. Машраб готов был кинуться на Кучкара с кулаками, но встретил взгляд Муяссар, услышал ее смех и неожиданно для себя расхохотался сам. Как насадка, нашедшая пропавшего цыпленка, Махира-буви, обняв внука, целовала его то в одну, то в другую щеку. Машраб с трудом вырвался из ее рук и увидел мать.

— Извините, мама... я... так вот случилось.

— Идите с Ларисой, покажите ей сад,— сказала Гульсум-апа.— Не забудьте про полив,— добавила она.

Машраб нерешительно стоял посреди двора.

— Ты тоже иди!

Взрослые ушли, и ребята остались одни. Они изучали русский язык в школе, но стеснялись говорить, боясь показаться Ларисе смешными. А она улыбалась и смотрела на всех огромными глазами, окруженными тенями и от этого казавшимися еще больше. Вдруг Кучкар решительно махнул рукой:

— А, Ларисахон! Свои люди. Плохо сказал, хорошо сказал! Свой огород, персик много. Хорошай девушка персик не жалка!

Все захохотали, а Кучкар громче всех.

Лариса шла в середине, а по бокам Муяссар и Гульчехра. Проулок был узким, и ребята шагали сзади. Кучкар вспоминал подробности ночного приключения. Особенно когда Кур-Шермат пинками подгонял Мапраба по арыку. Оказывается, Кучкар и Акмаль это видели.

— Мы думали, ты убежишь. Почему не убежал?

— Попробовал бы ты убежать со связанными руками.

Муяссар делала вид, что занята Ларисой, но на самом деле прислушивалась к тому, что говорили за ее спиной. Вчера утром она сказала, что поспели хандаляшки, не потому, что ей захотелось сладкого, — это Гульчехра за нее придумала, — Муяссар заговорила о хандаляках, потому что накануне вечером ее вызвал Камил.

— Бригадир бахчи говорит, что хандаляк поспел, — сказал Камил, когда Муяссар вошла в его кабинет, маленькую комнатку в правлении колхоза.

— Поспел, парторг-ака, — подтвердил Кур-Шермат. — Наберется полмешка, мешок...

Камил поручил Муяссар как комсоргу школы взять хандаляки, несколько ящиков яблок и других фруктов и отвезти в подарок раненым в госпиталь.

— Дорогу в госпиталь, я слышал, вы уже знаете? — Камил рассмеялся, а Муяссар покраснела. — От матери не попало? — спросил он.

Отец Муяссар Курбан-ата считал невозможным везти на базар для продажи вишни. Сколько мать Муяссар ни умоляла его, доказывая, что нет ни копейки денег, а детишкам к зиме необходимо купить обувь, Курбан-ата твердил одно:

— Понимаешь, что говоришь, женщина?! Ты можешь себе представить Чапаева на базаре?!

Жена не могла такого представить и снова начинала говорить, что детишкам нужна обувь. Тогда Курбан-ата надевал милицейскую фуражку, брал туго набитую газетами и журналами полевую сумку и уходил в поле или уезжал в степь подальше от докучливых разговоров. Кончилось тем, что мать Муяссар попросила разрешения Гульсум-апа и отправила с вишнями дочь. Муяссар по неопытности выехала из кишлака поздно, и когда приехала в город, солнце уже стояло в зените. Муяссар не знала дорогу и вместо базара оказалась возле городской больницы. За оградой под тутовником сидели раненые. Муяссар слышала, что в город эвакуировали госпиталь и многие из кишлака приезжали сюда узнать, не слышали ли раненые

что-нибудь об их близких. Муяссар увидела возле раненых девушку в белом халате и остановила ишака: ей очень хотелось спросить о сестре Зебе, которая уехала на фронт с четвертого курса ТашМИ. Но вместо этого она спросила:

— Как мне на базар проехать, ападжан?

— Поверни ишака обратно, доедешь до угла и поверни налево. А ты случайно не урюк ли везешь, сестричка?

— Нет. Вишни.

— Продай стакан. Заплатим по базарной цене.

— Что вы говорите? — Муяссар спрыгнула с ишака. — Разве я вишню купила за деньги, чтобы продавать? — Она торопливо развязывала корзины и сыпала вишню пригоршнями в протянутые ладони, в пилотки, в котелки, в носовые платки, а сама все разговаривала и разговаривала, и, хотя девушка в белом халате ничего не слышала о ее сестре, Муяссар показалось, что она получила о Зебе добрую весточку. Раненые пробовали вложить в ее щедрые руки деньги, но Муяссар то и дело повторяла:

— Нет, нет. Зачем деньги? Не надо денег. Вишня своя!..

Она вернулась в кишлак полная любви и доброты к страдающим людям, для которых она смогла сделать что-то приятное. Это светлое чувство несколько тускнело, когда она вспоминала о матери. Мать долго смотрела на дочь, пытаясь понять, что та ей говорила, но, видимо, так ничего и не поняла и только сказала:

— Конечно, разве девичье дело ездить продавать вишню?

Зато Курбан-ата был в восторге от дочери. Он заставил ее подробно повторить весь рассказ, как она, спрыгнув с ишака, предложила девушке вишню, как из ворот вышло несколько раненых с алюминиевыми мисками и котелками, как потом вокруг Муяссар собрались все, кто мог ходить, а тем, кто не мог, отнесли вишню товарищи. Муяссар рассказывала и сама вспоминала подробности. Потом отец заявил, что ему надо срочно в правление, и ушел сияющий и воодушевленный. Муяссар только сейчас догадалась, что Камилу о вишнях рассказал отец.

Несколько дней Муяссар жила ожиданием встречи со своими знакомыми в госпитале. Ей очень хотелось снова испытать приятное чувство собственной щедрости. По вине Машраба все было испорчено. Муяссар подчеркнуто не замечала его.

Муяссар пропустила вперед Ларису и вслед за ней перешла дощатый помост над арыком. Сад Муяссар был небольшим, но молодые деревья хорошо плодоносили и давали много тени. Персиков и урюка почти не осталось, если не считать редких, случайно забытых плодов, поклеванных воробьями. Зато поздние яблоки и сливы густо усеяли деревья. Лариса была поражена. Она подолгу останавливалась под каждым деревом, осторожно прикасалась к бархатистой шкурке персиков, чуть поглаживая их кончиками пальцев, словно боясь сорвать невзначай, ощупывала сливы и яблоки, будто не веря, что они настоящие. Ребята настаивали на том, чтобы она ела все, что ей хочется, не стеснялась и ни на кого не обращала внимания, выясняли, как сказать по-русски то или иное слово, перебивая друг друга. Оглушенная потоком ломаных русских слов, Лариса смущенно улыбалась. Кучкар, справедливо решив, что дело понятнее слов, не ленился из-за одного-двух плодов залезать на вершину дерева. Он требовал, чтобы Лариса подставляла подол, и ловко бросал сорванные плоды. Лариса вначале смущалась, каждый раз говорила: «Хватит, спасибо». Но ребятам нравилось угощать ее, и каждый заставлял съесть плод, который нашел он. А потом произошло что-то странное. Лариса, оглядываясь по сторонам, вдруг стала подбирать и складывать в ведерко, которое ей дала Муяссар, косточки урюка и абрикосов, подгнившую падалицу — все, что отыскивали в траве под деревьями ее глаза. Она больше не замечала протянутых ей плодов и все собирала, собирала, быстро перебегая под деревьями и ни на кого не обращая внимания.

Вначале ребята растерянно поглядывали на нее, пробовали объяснить, что все собранное ею несъедобно, что косточки персиков и вишен вообще вредные — ими можно отравиться, Лариса, как автомат, продолжала собирать все, что ей удавалось найти.

Кучкар вырвал у нее ведро и перевернул, растоптав все ногами.

— Нельзя! Мозги яман — плохо мозги... — сказал он. — Понимаешь! Ум, ум плохо, — и для большей убедительности постучал пальцем по лбу. — Горько, совсем горько! Плохо!

Лариса некоторое время испуганно смотрела на него и вдруг заплакала.

— Ты забыл, откуда она приехала? Косточек не ел, а ум совсем потерял, — сказала Муяссар.

Машраб никогда не видел Кучкара таким растерянным.

— Я о тебе, не о себе думал,— сказал он по-узбекски, забыв, что Лариса не может понять его.

Она сидела, сжавшись в комок, и плакала, уткнувшись в колени.

Акмаль-толстяк сопел и исподлобья поглядывал на Кучкара.

Муяссар сказала:

— Идите на хлопчатник.

Кучкар прошел несколько шагов, сказал:

— Муяссархон, приходите все трое к нам: посидим, поговорим.

Машраб все еще стоял, желая что-то сказать Муяссар, но в это время Гульчехра выпалила вслед Кучкару:

— А что у вас есть на хлопчатнике? Хандаляшки?

Машраб встретился глазами с Муяссар и побежал догонять товарищей.

Они проработали часа два. Засучив штанины выше колен, они закладывали дерном гряды, направляя воду на участки. Когда пришли девушки, на поле никого, кроме ребят, уже не было. Только вдали, у подножья холмов, белели платки женщин. Побросав кетмени, ребята присели на берегу арыка. Грязь на ногах подсыхала, приятно стягивая кожу. Солнце зашло, но еще было светло. От земли поднималось дневное тепло. Долина, улочки кишлака за оврагом, злосчастная бахча, кирпичная мечеть на холме, белая стена школы в потемневшей зелени садов,— все, даже аист в гнезде на плотине, было видно так отчетливо, будто после того, как скрылось солнце, снялась какая-то пелена и все обрело особую прозрачность.

— Я на вас вовсе не обиделась. Мне было просто стыдно за свою жадность. Сама не знаю, что со мной творится. Просто не могу видеть, чтобы на земле валялось съестное,— сказала Лариса.

— Э, о чем вы говорите, Ларисахон! Я просто ишак! У меня вместо головы курдюк. Я не должен был забывать, что вы из Ленинграда,— отвечал Кучкар.

Потом Муяссар пересказала то, что Лариса рассказывала ей и Гульчехре.

Лариса с матерью могла еще год назад эвакуироваться из Ленинграда, но заболела бабушка, и мать ни за что не хотела ее оставить. Бабушка умерла. Во всем многоэтажном доме, во всем квартале не нашлось людей, у которых



бы хватило сил помочь ее похоронить. Мать и Лариса сами вырыли яму во дворе и закопали ее. Потом заболела мать. Отец Ларисы, Владислав Мефодьевич Гордый, был известным хирургом, о нем до войны писали в газетах. В прошлом году прямо от операционного стола его отправили к партизанам в леса Белоруссии. Муяссар рассказывала так, будто отвечала в классе хорошо подготовленный урок. Она нет-нет да поглядывала на Машраба, и он по мягкому блеску ее глаз понял, что она его простила. Машраб чувствовал тепло ее плеча и боялся пошевелиться, чтобы ее не спугнуть. Лариса молчала, вслушиваясь в быструю и взволнованную речь, зная, что Муяссар говорит о ней, и не понимая ни единого слова. Акмаль-толстяк слушал и сопел, но ведь он всегда сопел, когда рядом была Гульчехра.

В небе мерцали первые звезды. Потом будто кто-то стал рассыпать их пригоршнями. В кишлаке то там, то здесь загорались огоньки. От политого поля повеяло прохладой, а нагретая за день земля исходила теплом, и Ларисе хотелось прижаться к ней, как к печке.

— Слышите, лает собака, блеет овца... Я забыла, что так бывает, — сказала Лариса. — Вы не знаете, что значит огромный город, в котором ни разу не мигнет огонек. Огромный город с пустынными улицами и мертвыми домами. — Лариса замолчала, потрясенная своими воспоминаниями. Она приложила к щекам ладони и сидела не шевелясь.

Машраб сам не помнил, как заговорил. Он всегда боялся говорить в минуты душевной взволнованности, потому что сами собой вылетали высокопарные слова, над которыми смеялись.

— Друзья! — сказал Машраб, и голос его дрожал. — Давайте поклянемся памятью людей, которые погибли, защищая Ленинград. Не пожалеем сил, а если нужно, и жизни, чтобы разгромить врага. Нас шестеро! Будем бороться рука об руку, в едином порыве!..

Машраб не сразу поверил, почувствовав в своей руке руку Кучкара. Вместо того чтобы смеяться, Кучкар, который терпеть не мог высокопарных слов, сказал:

— Клянусь!

Машраб чувствовал на своей щеке взволнованное дыхание Муяссар и был счастлив.

Потом ребята проводили девушек в кишлак.

Машраб лежал на берегу арыка под тулузом. Все бы

хорошо, если бы не хандаляшки. Конечно, хандаляшки — пустяки в общих событиях дня. Но такие истории не для того начинаются, чтобы так просто кончиться.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Эртаев не выспался, а поговорить с Барно с глазу на глаз не пришлось. Рано утром его вызвали в райисполком. Областной уполномоченный, с дергающимся после контузии лицом, сказал, что если здоровые мужчины не справляются с порученной им работой, то есть ли смысл держать их в тылу? Он вряд ли имел в виду Эртаева, но после этих слов у Эртаева испортилось настроение. Чего-чего, а работать Эртаев умел. Вернее, умел заставить работать других. Он не боялся смерти, но мысль, что его могут призвать в армию, а на фронте легко стать калекой, потрясала его. Новый военком с цифрами в руках доказал, что в районе много людей призывного возраста, годных для службы в армии, а между тем район не выполняет разнарядки. Областной уполномоченный поддержал военкома. Секретарь райкома Умаров доказывал, что если мобилизовать последних людей, то хозяйство остановится. Эртаев сделал то, на что второй раз он бы никогда не решился. Он встал и, глядя на военкома, сказал:

— Я тоже значусь в списках годных на фронт. Готов немедленно поменять бронь на призывную повестку...

Военком что-то проговорил о крайностях, но Умаров тут же перешел в наступление.

— Поставьте вместо цифр живых людей, и вы поймете, что все они незаменимы, — сказал он.

Военком ответил, что незаменимых людей нет. Начался спор, но Эртаев в него не ввязывался.

Среди всех забот дня Эртаев помнил о вечере. Он отпустил вчера Барно, взяв с нее слово, что они сегодня встретятся. Вчера Эртаев совершил ошибку, приняв Барно в гостиной Чавандаза. Такие свидания не следовало устраивать в доме.

Эртаев сидел у окна своей комнаты и смотрел, как Чавандаз поставил над арыком, в глухом углу большого сада тахту и постелил атласные одеяла, разбросав по ним подушки.

Эртаев накинул на плечи шелковый халат и вышел в сад. Он присел у арыка. Умывая руки, он увидел в зелено-

ватой воде глиняный кувшин. Эртаев повернулся к Чавандазу, сказал:

— Я вижу, сам царь рыб сидит в этом кувшине.

— Какой там царь рыб, Эртаев-ака! В кувшинчике сидит такой волшебник, что стоит открыть горлышко, как вся горечь души улетит прочь и вы вознесетесь в небеса!

— Посмотрим, посмотрим, какова сила твоего волшебника. Я ведь тяжелый...— Эртаев, посмеиваясь, забрался на тахту и боком прилег на подушку.

Чавандаз нетерпеливо хлопнул в ладоши.

— Иду, иду, — ответил из сада сын Чавандаза Ядгарбек. Он нес поднос с персиками. Ядгарбек был такой же, как Чавандаз, черноглазый и широкоплечий. За его спиной пряталась круглолицая девушка-пышка с медным блюдом, полным тонких лепешек из теста, замешенного на сале и молоке.

Ядгарбек остановился, девушка от неожиданности толкнула его блюдом и засмеялась, сверкнув ровными белыми зубами.

На лбу Чавандаза появились и тут же исчезли морщинки.

— Почему не здороваешься, сынок, с Эртаевым-ака?

— Э, извините... Ассалам алейкум! — Ядгарбек отдал поднос отцу и неуклюже поклонился, прижимая к груди огромные руки. Девушка поставила блюдо на тахту, засмеялась и бросилась бежать между деревьями. За ней, неуклюже раскачиваясь, побежал Ядгарбек. Между деревьями мелькали крепкие ноги девушки в ярких шальварах. Эртаев прикрыл глаза: у него было правило иметь дело только с замужними женщинами — проще и безопасней.

— Что это за птичка? — спросил он.

— Гульчехра. Дочь соседа. Немножко того: винтика не хватает.

— Я думаю, она просто любит, чтобы ее щекотали...

— Если любит, есть кому пощекотать...

Эртаев усмехнулся, сказал:

— Не сомневаюсь... Жеребчик входит в силу! — Помолчал и добавил: — Его ровесники уже год как воюют...

Чавандаз промолчал. В прошлую осень он на два года «омолодил» сына, пользуясь тем, что в его руках находилась печать кишлачного Совета. Догадывался ли об этом Эртаев или просто так сказал о возрасте сына? Чавандаз наклонился над арыком, доставая кувшин. «Омолодить»

сына больше, чем на два года, Чавандаз не решился — нельзя же его делать ровесником пасынка Кучкара, когда все в кишлаке знают, что Ядгарбек старше. Когда Чавандаз увел у отца Кучкара, знаменитого Клыча, красавицу Фатиму, Кучкару было пять лет, а Ядгарбек, сын от первой жены, уже пошел в школу. Женидьба на Фатиме была слишком громким событием в жизни тихого кишлака, чтобы о нем забыли. Чавандаз был не из робкого десятка. Он просто знал, что можно и чего нельзя. Зимой, когда по разнарядке военкомата надо было послать в трудовой батальон двадцать человек, должен был ехать Эшмат, сын Мумина, закадычный друг Эртаева. Эшмат Мумин жил в городе, работая от колхоза экспедитором, но в кишлаке был другой Эшмат, сын Мумина, отец Акмаля-толстяка и еще пятерых детей мал мала меньше. За день до отправки Эртаев прислал Чавандазу записку с дружеским саламом и тайной просьбой. Чавандаз «омолодил» на пять лет не подлежащего призыву Эшмата, отца Акмаля, и отправил его взамен Эшмата-экспедитора. Записка Эртаева до сих пор хранилась у Чавандаза, и поэтому он не очень беспокоился о том, что думал Эртаев, говоря о возрасте Ядгарбека. Наоборот, Чавандаз намеревался поговорить с Эртаевым, чтобы тот добился отсрочки для Ядгарбека, которого должны были призвать в этом году. Чавандаз обер полый халата влажный кувшин и придвинул к Эртаеву блюдо с лепешками и самсой.

— Как быть с волшебником, Эртаев-ака, может, выустим его из кувшинчика? А?

— Чем давать, спрашивая, лучше дай, ударив...

— Надо запомнить. Очень мудрая пословица, Эртаев-ака.

Эртаев пил из пиалы маленькими глотками зеленоватое, удивительно ароматное, чуть терпкое на вкус вино, и на лбу его выступили крупные капли пота.

— Вы очень правильно сказали о возрасте Ядгарбека, Эртаев-ака. Со дня на день он может получить повестку...

— А вам бы этого очень не хотелось? — Эртаев допил вино и вытер платком потный лоб.

Чавандаз промолчал. Зачем говорить вслух то, что и так ясно?

— Не скрою, трудное это дело! Пришел новый военком Абубакиров...

— Знаю, поэтому к вам и обращаюсь, Эртаев-ака.

— Это человек, с которым надо быть осторожным. Фронтовик, без ноги, но подойди сзади — лягнет, сунься спереди — укусит. Такие думают, что если он остался калекой, — значит, все должны быть калеками.

Чавандаз разлил вино. Эртаев отпил глоток, сказал:

— Не надо хмуриться, Чавандаз! Что-нибудь придумаем. Только пусть молодец не болтается в кишлаке у всех на виду. Надо его отправить подальше в степь.

Эртаев отставил пиалу. Вино было слишком хмельным. Он решил не пить до прихода Барно и все чаще поглядывал в сад. Из-за почерневших по-ночному деревьев выдвинулась фигура Кур-Шермата. За ним с фонарем стоял Ядгарбек. Он повесил фонарь на черешню и ушел. Кур-Шермат по знаку Эртаева осторожно присел на край тахты.

— Что случилось? — спросил Эртаев.

— Не придет она... Младший брат ее муженька что-то пронюхал...

— Дурной парень, — сказал Чавандаз. — Моего пасынка сбил с пути. Вылитый Агзам Ячейка, подлец!

У Чавандаза были причины не любить отца Машраба. Давно было дело. В тот год в районе открыли МТС. Чавандаз привез Агзаму Ячейке арбу фруктов — тогда Агзам с семьей жил в городе. Только остановил арбу у ворот дома, откуда-то верхом на эмтээсовском жеребце прибикал Ячейка. Чавандаз с шутливой фамильярностью сказал:

— Прими салам от колхозников! — и почтительно придержал жеребца за повод.

Агзам Ячейка спешил, сказал:

— От колхозников, говоришь?! Запомни: еще раз попытаешься дарить колхозное добро — под суд отдам, — и вошел во двор, ведя жеребца в поводу.

Эртаев молчал, а Чавандаз подытожил вслух свои воспоминания:

— Гордецом был. Бывало, с коня слезет, но не с седла.

— Говоришь, мальчишка помешал? — спросил Эртаев Кур-Шермата.

— Помешал, Эртаев-ака. Только какой он мальчишка? Его сверстники воюют...

Эртаев мелкими глотками пил вино. Что мог знать мальчишка, если до сих пор между Эртаевым и Барно ничего не было? Так думал Эртаев, а со стороны казалось, что он пристально смотрит в темный сад, что-то увидев ме-

жду деревьями. С тех пор как не стало Ячейки, Эртаев делал все, чтобы люди забыли, какую роль он сыграл в его смерти. Особенно было важно, чтобы теперь люди этого не вспомнили. На фронте сын и зять Агзама, два брата Гульсум-апа. Эртаев знал, что если они вернуться, то непременно с орденами,— такие это были люди.

— Вчера оборвали на колхозной бахче хандаляки и две грядки дынь,— сказал Кур-Шермат.

Чавандаз подозрительно посмотрел на бригадира бахчи.

— Каких дынь? — спросил он.

— Две грядки америйских дынь — они с краю.

— Насколько мне известно — дынь не было. Во всяком случае, ты мне про дыни ничего не сказал.

— В темноте не заметил. Две грядки америйских дынь обобрали...

— Хороший наследник у Ячейки — запускает руку в колхозное добро... Почему мне сразу не доложили? — спросил Эртаев.

— Инобатхон сказала: пустяки... отработают.

— Правильно сказала,— подтвердил Чавандаз. Он пристально смотрел на Кур-Шермата.

— С каких пор председатель кишлачного Совета покрывает расхитителей колхозного добра? — спросил Эртаев.

— Я же говорил, сын Агзама моего младшего дурня сбил с толку.

— Кроме сына Агзама, были еще двое, но я их в темноте не узнал, а он их не выдает,— сказал Кур-Шермат.

Эртаев допил вино и оставил пиалу.

— Очень хорошо, что не выдает. Так должен поступать каждый настоящий мужчина. Через день-два, когда все уляжется, приведи ко мне сына Ячейки. Постарайся поднять его с постели.

На свет фонаря вышли из сада Ядгарбек и Гульчехра с блюдами в руках. Эртаев щурил захмелевшие глаза, ершил пышные волосы, разглядывал Гульчехру.

— Говорят, не откажешься от благ — не достигнешь красавицы... Что скажете, пыпечка?

Гульчехра хихикнула и шагнула за спину Ядгарбека. Она передала ему блюдо и убежала в темноту.

Чавандаз забрал у сына блюдо и жестом велел уходить. Кур-Шермат торопливо проглотил несколько пельменей и, пятясь задом, ушел вслед за Ядгарбеком.

Эртаев переложил подушку под голову и лег на спину,

Над ним было усеянное звездами небо. Под деревянной тахтой протекал арык. Легко, по-почному шуршали деревья.

Кучкар не мог заснуть. Ворочался на постели с одного бока на другой — никогда раньше постель не бывала такой жаркой.

Очень красивые глаза у Ларисы. И не поймешь, какого они цвета: то голубые, а бывают — черные. Хорошо было смеяться над Машрабом и Акмалем, над их влюбленностью. А над собой не посмеешься. Пробовал Кучкар посмеяться — ничего не вышло. Второй день только и думает о Ларисе. Ему очень нравилась эта тонкая, худенькая девочка, похожая на ребенка, с русыми волосами, как пенистый водопад. «Пенистый водопад» придумал не Кучкар — это было написано в стихах Машраба, которые Кучкар нашел в его тетрадке. Слова эти относились не к Ларисе. Ларисы тогда еще и в помине не было, но они очень понравились Кучкару. Он так и сказал Ларисе: ваши волосы как пенистый водопад... Потом обнял ее за талию и очень удивился, когда Лариса резко освободилась от его рук. Он шел рядом с ней, провожая ее домой. До калитки Махир-буви они дошли молча. Правда, Кучкар пытался что-то объяснить, но с его запасом русских слов ничего не получилось. Лариса, не подав ему руки, ушла за калитку. Кучкар лежал и соображал: что же такое произошло?

В гостиной отчим Чавандаз разговаривал с матерью. Поначалу Кучкар думал, что это обычная перебранка между ними, и, поскольку было упомянуто его имя, он решил, что и на этот раз является причиной семейного раздора. Кучкар давно к этому привык и потому не обращал внимания. Громкие голоса через комнату от него не мешали Кучкару думать о Ларисе.

При всей своей грубоватой беспечности, Кучкар любил и жалел мать, понимая, как трудно ей с отчимом. Но стоило ему вспомнить о родном отце — Клыче, как чувство жалости к матери мгновенно исчезало. Чем больше выросл Кучкар, тем яснее понимал, что в разрыве с матерью виновен не отец. Слава отца ничуть не уступала славе Агзама Ячейки. Клыч и Агзам были друзьями с детства. Они вместе служили в Киеве в армии белого царя и вернулись в кишлак убежденными большевиками. Они организовали в кишлаке партийную ячейку, дрались с басмачами, про-

водили коллективизацию, вместе учились в САГУ<sup>1</sup>. Пока отец учился, мать попала в руки Чавандаза. О том, что она могла полюбить этого человека, Кучкару и в голову не приходило. Все говорили, что Фатима в молодости была очень красива, а Чавандаз, овдовев, не давал ей прохода, пользуясь продолжительным отсутствием Клыча. Отец после учебы не вернулся в кишлак. Только в позапрошлом году, через восемь лет, он заехал посмотреть на сына. Когда Кучкар увидел человека в форме пограничника, который сказал: «Давай, сынок, поздороваемся», у него сжалось сердце. Но Кучкар тут же вспомнил сказанные накануне слова Чавандаза: «Наконец вспомнил о сыне, а где же он до сих пор был?» Кучкар небрежно ткнул отцу руку и тут же убежал, сославшись на дела. А на следующий день он узнал, что отец прямо из кишлака уехал на фронт. Кучкар готов был разбить себе голову об стену за то, что так встретил отца.

Кучкар уже минуты две прислушивался к тому, о чем говорил Чавандаз матери. Он стал прислушиваться, как только услышал имя Машраба. Не было никаких сомнений: речь шла о неудачной попытке утащить хандаляки. Кучкар услышал, как всхлипывает, удерживая рыдания, мать, а Чавандаз, повысив голос, сказал:

— Сына Ячейки сейчас допрашивает Эртаев-ака. Будь мне благодарна, что я спас от позора твоего сына, но предупреди его — это в последний раз...

Когда Фатима вошла в комнату Кучкара, он уже торопливо натягивал рубашку.

— Куда ты, сынок? — испуганно сказала она.

Кучкар молча взглянул на мать, и она замолчала. Она присела на постель, и холодная льдинка полумесяца осветила ее худощавое, безвременно постаревшее лицо. Она сидела так, пока Кучкар одевался. Он запомнил ее испуганный взгляд, когда она посмотрела на него, а потом, отвернувшись, стала смотреть в темный сад, и на щеках ее поблескивали слезы.

Он помнил взгляд матери, пока бежал через сад в правление. Кучкар с грохотом открыл дверь кабинета. Посредине комнаты стояли Машраб и Акмаль, а около стола сидели Эртаев и Чавандаз. Эртаев, склонив над столом черноволосую с пышной шевелюрой голову, исподлобья смотрел на Кучкара.

---

<sup>1</sup> САГУ — Среднеазиатский государственный университет.



— Дела-то натворил я, а вы издеваетесь над ними! — крикнул Кучкар.

— Вот и третий расхититель колхозного добра явился с повинной, — сказал Эртаев.

— Дурак ты, дурак! — Чавандаз придавил пружины дивана так, что они заскрипели.

Акмаль засопел, сказал:

— Не верьте им. Я же вам говорю, я придумал нарвать хандаляки.

— Круговая порука, — сказал Эртаев и усмехнулся. Потом, уставившись на Машраба, спросил: — Скажи откровенно — за отца мстишь?

Машраб не ожидал этого вопроса. Он затравленно оглянулся на друзей, потом посмотрел на Эртаева.

— Что вам сделал мой отец?

Чавандаз вскочил с дивана, сказал:

— Ты делаешь то же, что и твой отец: разрушаешь колхозный строй...

— Не трогайте его отца!.. Нельзя плохо говорить об умершем. Весь кишлак знает, кем был Ячейка! — крикнул Кучкар.

Эртаев ударил кулаком по столу:

— Круговая порука! Чавандаз, сегодня же, сейчас же отправь их в степь! Они тут с жиру бесятся! Их сверстники на фронте, а они запускают руку в колхозное добро. Пусть в степи покосят пшеницу. Пусть попотеют на заготовке. Может быть, тогда поймут, в какое время живут... Гони их, сегодня же гони в степь!..

Гнать их не пришлось: все трое пулей вылетели в коридор. Кучкар, потирая руки, сказал:

— Напугал! Я бы на край света убежал, лишь бы его не видеть!

В темном коридоре стояла Гульсум-апа, парни не сразу ее увидели. А когда увидели, смутились.

— Идите, идите, — сказала она и, открыв дверь, вошла в кабинет.

— Извините, товарищ Эртаев, я пришла к вам с вопросом, — закрывая за собой дверь, сказала Гульсум-апа.

— Оставь нас одних, — обратился Эртаев к Чавандазу.

Он зачем-то переставил на столе чернильный прибор.

— Я вас слушаю, Гульсум-апа, — сказал он, когда Чавандаз вышел.

— Почему вы вспомнили моего мужа? Зачем говорить мальчику об его отце?

— Вы, директор школы, оправдываете воровство только потому, что это воровство совершил ваш сын?

— Нет, не оправдываю. Но при чем тут отец моего сына? Или вы разделяете точку зрения Чавандаза?

— Раз вы слышали наш разговор, значит, вы знаете, что я не поддерживал Чавандаза. Я считаю, что проступок парней нельзя оставлять безнаказанным. В их возрасте пора становиться мужчинами...

— Но мы должны помочь им стать мужчинами...

— Жизнь поможет. В их возрасте нам никто не помогал, мы сами разбирались, что к чему. Словом, пусть едут в степь и поработают.

— Они и здесь не бездельничали. Их руками бригада справлялась с поливом хлопка, а хлопка не так мало — сто гектаров!

— Опять сто гектаров! Интеллигенция всего кишлага! Школа! Амбулатория! Сельпо! Посеяли сто гектаров, а шуму на весь мир. Да и полив уже кончается, а хлеб надо убирать...

— Я бы никогда не позволила себе говорить о хлопке, если бы те, кто посеял его, были здесь... Может быть, их уже нет в живых, и в память о них мы должны довести до конца начатое ими...

— Если я буду входить в положение каждого и идти на уступки, то зачем государству держать меня здесь? Извините, но я не могу потворствовать воровству: парни поедут в степь, а за хлопок отвечаете вы!

— Я не боюсь ответственности. И я пришла не защищать сына. Я просто беспокоилась, что его так долго нет. И я бы никогда не вмешалась в ваш разговор, если бы случайно не слышала, что поступок сына связывают с именем его отца, — сказала Гульсум-апа, уже стоя в дверях.

Гульсум-апа возвращалась домой не очень собой довольная. Ей бы хотелось прямо сказать Эртаеву, что отец Машраба сражался за советскую власть, когда он, Эртаев, еще поса не мог себе вытереть. Возможно, Агзам допускал ошибки, но не такие, за которые можно исключить из партии такого человека, как он. Единственную ошибку Гульсум-апа не могла простить мужу — эта ошибка заключалась в том, что он приблизил к себе Эртаева, карьериста и подхалима.

Машраб еще не вернулся. В комнате было темно.

Гульсум-апа зажгла лампу и долго стояла посреди комнаты, не зная, что делать. Свет падал на книжную полку, на фотографию в рамке, на которой стояли первые выпускники САГУ, — единственная память о муже. Фотография начала тридцатых годов! В одежде людей, даже в том, как они стоят, — печать того времени. На всех гимнастерки и брюки-галифе, широкие кожаные ремни, на головах фуражки с красной звездой. Стоят они по команде «смирно», смотрят перед собой, словно прислушиваясь, готовые немедленно исполнить команду невидимого командира. По одну сторону Агзама стоит Клыч, по другую — Курбаната. Удивительные были времена. Гульсум-апа была уверена, что, если бы ей довелось прожить тысячу лет, она сможет многое забыть, но тех лет она никогда не забудет. Жили в кишлаке три друга: Агзам, Клыч, Палван, и все трое ушли на службу к белому царю. В Киеве возили на верблюдах дрова и воду в казармы и вместе с верблюдами были помещиком для городских мальчишек, и вот эти трое друзей, вернувшись в кишлак, стали грозой врагов советской власти. Они сами устанавливали «революционные законы», потому что в первые годы революции законы из центра шли очень медленно, сами конфисковывали землю и воду. А Гульсум-апа, прижав к сердцу трехлетнюю дочурку Мастуру, коротала ночи без сна. Всю ночь не умолкал топот конских копыт вокруг их дома, кто-то грозил, стрелял, и каждое утро они находили у калитки записку: «За сколько денег ты продал душу большевикам, Ячейка?! За твою голову мы назначили тысячу таньга! Берегись, боготступник!..»

Но друзей трудно было запугать. Именно в те годы Клыч влюбился в Фатиму. Прежде чем идти к ней на свидание, он надевал большие сапоги, заходил в амбар отца и насыпал в голенища зерно. На вырученные за зерно деньги Клыч покупал сладости и прибегал к Гульсум-апа. «Милая Гульсумхон, отнесите Фатиме и скажите, пусть выйдет на плотину — есть разговор!»

На другой день после свадьбы на холме возле мечети собрался весь кишлак. По обе стороны плачущей Фатимы стояли Гульсум и жена Курбана. Агзам сказал, стараясь казаться спокойным:

— Начинай, Гульсум, не бойся. Другого выхода нет! — Он не спускал глаз с толпы, вороша палкой костер.

— Да, да!.. Начинайте вы, а потом Фатима, — шептал побелевшими губами Клыч, не выпуская из рук нагана,

переводя взгляд с орущей толпы на свою насмерть перепуганную Фатиму.

В пылающий костер полетела паранджа Гульсум, за ней бросила паранджу Инобат, потом жена Курбана и последней Фатима... Они с открытыми лицами, прижимаясь друг к другу, под охраной мужей прошли сквозь толпу и, лишь свернув в проулок, облегченно вздохнули... А дальше? Дальше земельная реформа, ликбез, САГУ, коллективизация, райком, МТС...

Кто-то очень внимательно наблюдал за жизнью Агзама Ячейки. Подмечал самые незначительные промахи и в подходящий момент, когда неурожай в колхозах свел на нет работу МТС, Агзама обвинили в извращении линии партии в период гражданской войны, коллективизации, развернутого строительства социализма. Тот, кому надо было свалить Агзама, стоял за спиной таких людей, как Эртаев, и дирижировал ими. По письменному заявлению Эртаева было начато персональное дело коммуниста Агзама, а на бюро райкома Эртаев выступал как близкий Агзаму человек и каялся в этой близости...

Только вот эта карточка осталась на память о тех трудных, но светлых до слез годах. А из старых друзей многих уже нет в живых. Курбан-ата совсем состарился. Клыч после истории с Фатимой уехал куда-то далеко, на службу в погранвойска, и оттуда ушел на фронт, заехав в кишлак на два дня повидать сына. А Палван лежал раненый в госпитале.

Гульсум-апа быстро оглянулась. Посреди комнаты стоял Машраб, как он вошел, она не слышала. Машраб тоже смотрел на фотокарточку. У него были свои воспоминания об отце...

...В тот день он вернулся из школы с видом победителя: он получил пятерку, было это не то в первом, не то во втором классе. Он ворвался в комнату — они жили тогда в городе — и бросился к матери. Гульсум-апа сидела на курпаче, обхватив колени, и резко оттолкнула сына, даже не выслушав его:

— Возьми лепешку и отправляйся играть. Не до тебя мне!

Такого никогда раньше не было. Машраб ушел обиженный, едва сдерживая слезы. Он влез на соседний дувал, равнодушно жевал лепешку и поглядывал вдоль пустынной, белой от солнца и пыли улицы. Из-за угла выехали два всадника. Один, в военной фуражке и с огромной ко-

жаною сумкой на боку, сидел в седле спокойно, с достоинством главнокомандующего. Второй, с огромными усами, горячил красивого скакуна, тот заносил немного вбок, резво перебирая точеными ногами. Всадники были Курбан-ата и Хашим Палван — муж Инобатхон. Но Машраб их тогда не знал. Они подъехали к дувалу, Хашим Палван спросил:

— Где дом Агзама Ячейки, джигит?

Машраб спрыгнул с высокого забора.

— Вот это и есть наш дом! — крикнул он и бросился во двор, чтобы предупредить мать.

Гульсум-апа просияла.

— Беги к отцу. Скажи, приехали друзья, с которыми он бил басмачей и всех других врагов советской власти, — сказала она, и глаза ее так сверкнули, что Машраб, готовый пулей вылететь на улицу, даже приостановился.

— Скажи Ячейке: если нужна помощь, Курбан приведет эскадрон! — крикнул тот, что был в фуражке.

Оба всадника и Гульсум засмеялись, а Машраб, выскочив за ворота, помчался по улице.

В МТС отца не было, сказали, что он в райкоме. Когда Машраб выходил из конторы, кто-то сказал:

— Сын Ячейки. Мальчик еще ничего не знает...

В райкоме шло заседание, на которое Машраба не пустили. Он попросил технического секретаря передать отцу, что его ждут дома, и побежал к сестре Масгуре, чтобы позвать ее мужа. На обратном пути Машраб снова забежал в райком. Он увидел отца на улице с поникшей головой, окруженным людьми.

— Не они мне давали партбилет, не они его от меня получат, — сказал отец.

— Правильно говоришь, Агзам!

Выслушав Машраба, отец грустно усмехнулся:

— Говоришь, эскадрон приведет, сынок? К сожалению, эскадрон в этом деле не поможет...

— Это который с сумкой сказал, а у другого усы — во! — Машраб показал руками, какие у другого усы, и все рассмеялись.

Со двора райкома выехал на эмтээсовском жеребце какой-то человек. Машраб даже рот открыл от возмущения, потому что на этом жеребце ездил отец. Кто-то сказал:

— Эртаев! Сразу хозяином себя почувствовал!

— Эртаев! Потерпел бы. Ты еще меня не похоронил! —

крикнул отец, но человек на жеребце поскакал по улице, не оглянувшись.

Машраб почувствовал ненависть к этому человеку. Он был оскорблен за отца, еще ничего не зная о том, что произошло.

— Идем, сынок, — сказал отец.

Машраб не помнил, чтобы отец когда-нибудь его приласкал.

— Куплю-ка я тебе мороженое. Ты любишь мороженое? — спросил отец и внимательно посмотрел на Машраба, так внимательно, как будто впервые его видел.

Машраб кивнул головой и облизнул губы. Но когда они подошли к ларьку, оказалось, что мороженое уже кончилось. Отец очень огорчился, сказал:

— На нет и суда нет. — Он достал из кармана мелочь и отдал ее Машрабу. — Завтра сам себе купишь. — Больше отец ничего не говорил до самого дома, но потной ручонки сына не выпускал из своей большой и горячей руки.

В доме царил оживление, как будто готовился той. Гульсум хлопотала у очага, обжаривала в котле морковь, лук. Расседланные лошади жевали свежий клевер в кормушках. Машрабу особенно понравился скакун, на котором приехал Хашим Палван. Мальчик попросил у матери лепешку и кормил скакуна из рук. К скакуну подошел Хашим Палван. Улыбаясь во весь белозубый рот, он вывел коня из-под навеса.

— Полюбуйтесь красавцем, Ячейка-ака! Помните, у хребта Рустам-даван он бегал жеребенком за кобылой курбаши?

— Помню, браток, все помню. Из-за этого жеребенка ты чуть не потерял головы, налетев на засаду басмачей. — Агзам-ака говорил, поглаживая ладонью грудь. — Принеси-ка мне пиалу воды, сынок, — сказал он Машрабу.

Машраб принес из колодца ведро с водой, и отец медленно выпил две пиалы.

Курбан-ата смотрел на него, потом сказал:

— Не нравишься ты мне, Ячейка! Разве можно так раскисать! Чапаев и не в таких бывал переделках, а духом не падал!

Отец молча ушел в дом. На террасе он неожиданно схватился за грудь и начал клониться в одну сторону, вытягивая шею, словно ему не хватало воздуха.

На следующий день отца похоронили.

...Гульсум-апа распахнула окно в сад. За садом на плотине квакали лягушки. Мягкий и тихий вечер вливался в комнату. Гульсум-апа давно хотела поговорить с сыном об отце. Она подумала, что сейчас самый подходящий момент для такого разговора.

— Почему ты становишься таким беззащитным, как только тебе напоминают об отце? — спросила она.

Машраб молчал.

— Ты должен знать: твой отец невиновен, его оклеветали.

— А разве у нас могут наказать невиновного? — спросил Машраб.

— Ты должен знать: среди нас есть люди, которые ради своей карьеры, ради своего благополучия готовы оклеветать честного человека. Твоего отца погубили такие, как Эртаев. Эртаев был его врагом, но отец этого не понимал. Подхалимство Эртаева он принимал за преданность делу, а его услужливость казалась ему бескорыстной деловитостью. Ты должен это понимать и бороться с Эртаевым!

— Как? — спросил Машраб.

— Будь честным, справедливым. Помни: интересы родины всегда должны быть выше твоих. Ты уходишь в степь. Не воспринимай это как наказание. Работай с душой. Не отставай от других. Заслужи уважение людей своим трудом, тогда Эртаев окажется перед тобой бессильным!..

Нечто похожее Машраб уже слышал от брата, когда прощался с ним в ту последнюю ночь на плотине. Гульсум оглянулась на сына и увидела у него в глазах слезы. Она обняла его за плечи, сказав:

— Трудно стать мужчиной, сынок. Но надо! Такое время, война!

Машраб уснул под впечатлением этих слов, положив голову, как бывало в детстве, на материнские колени.

Еще один человек этой ночью думал об Агзаме Ячейке. Этим человеком был Эртаев. Прошли годы, а спокойствие не приходило. Было похоже, что Эртаев до сих пор боится мертвого. Он сидел за столом и писал в райком о проделанной работе. История с хандаляшками выглядела в его отчете как хулиганский поступок великовозрастных бездельников, которых он вынужден был призвать к порядку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Инобат и Камил спешили и привязали коней к чинаре. Когда они вошли в райком, стенные часы в приемной еще не пробили девяти. Технический секретарь встала при их появлении — сразу было видно, что она была предупредена и ждала их. Почти тотчас открылась тяжелая, обитая кожей дверь кабинета, на пороге стоял Эртаев.

— Э, уже приехали? Отлично! — сказал он. Эртаев вел себя уверенно, как хозяин. Он сделал приглашающий жест большими белыми руками: — Прошу!

Большой кабинет выходил окнами в сад. В глубине сидел секретарь райкома, сдержанный, молчаливый человек лет шестидесяти. Полузакрыв глаза, он тихо говорил, прикрыв телефонную трубку рукой. Он поздоровался с Камиллом и Инобатом кивком головы, показал рукой на стулья, приглашая садиться. Камилл присел, теряясь в догадках. Он был в этом кабинете неделю назад, и, как ему казалось, тогда не осталось ни одного нерешенного вопроса. Умаров положил трубку и некоторое время молчал, поглаживая полуприкрытые веки.

— Колхоз «Путь Ленина» — самое крупное хозяйство в районе. Вы не находите? — спросил он.

Инобат и Камил молчали. Вряд ли их вызвали, чтобы сообщить эту всем известную истину.

— Трудно, наверно, за всем усмотреть: хлопок, хлеб, бахча... Я так думаю, за неделю всех полей не объедешь? — Этот вопрос секретарь задал, обращаясь к Инобату, и не ответить на него она не могла.

— Трудно, Умаров-ака, но я не жалуясь. Кому сейчас легко?

— Товарищ Эртаев советует разделить функции. Я с ним согласен. Вы, Инобатхон, возьмете хлопок, а Камилджан зерно... Как думаете, разумное предложение?

— Вы так осторожно говорите, Умаров-ака, точно боитесь меня обидеть, — сказала Инобат. — Я не обидчивая, лишь бы дело хорошо шло. Я только хочу сказать...

— Говорите, говорите...

— Товарищу Эртаеву следовало бы считаться с людьми. Хороший я руководитель или плохой, но пока я председатель колхоза!

— Разве кто-нибудь с этим спорит? — спросил Эртаев.

— Еще спрашивает! За моей спиной трех парней угна-



ли в степь, а они несли всю тяжесть работы на ста гектарах хлопчатника.

— Я сделал то, что должны были сделать вы сами. Но я понимаю — узы дружбы, личных отношений, их трудно бывает преодолеть даже нам, мужчинам... Товарищ Умаров знает о моем распоряжении.

— А о вашей грубости с людьми, с женщинами Умаров-ака тоже знает?

— Извините.— Эртаев побледнел.— Если я кого-то обидел, то сделал это неумышленно. Все, что я делаю, я делаю ради фронта, ради нашей победы!..

— Тогда зачем же оскорблять людей? Здесь, в тылу, они несут на своих плечах всю тяжесть войны!..— Инобат отошла к окну и прижалась к холодному стеклу горячим лбом.

Умаров встал, посмотрел на Камила, словно хотел понять, какое впечатление произвела на него, фронтовика, эта сцена.

— В словах Инобатхон чувствуется обида... Но упреки в ваш адрес, товарищ Эртаев, серьезные. Я бы советовал вам подумать... Что же касается парней, Инобатхон, решайте сами, где им работать. Это ваше право председателя, и райком не позволит никому его нарушать. Я слышал, вы уже приняли эвакуированных. Привлекайте их к работе... Пойдет? — спросил Умаров и улыбнулся.

— Ладно, как-нибудь обойдется, Умаров-ака. Извините за резкие слова.— Инобат попрощалась и вышла, оставив Камила в кабинете.

Когда Камил вышел, Инобат стояла, прислонившись к чинаре.

— Не понимаю, кажется, даже Умаров-ака тяготится тем, что колхоз посеял лишние шестьсот гектаров зерна... Я понимаю, область требует хлеба, а убрать эти дополнительные гектары нелегко. Но все равно лучше, что они есть, чем если бы их не было,— сказал Камил.

Городские сады давно остались сзади. Впереди лежала голая, выжженная степь, такая же, как та, на которой весной колхозники посеяли хлеб. Лишь по горизонту тянулись черные, похожие на опаленные овечьи головы холмы. Инобат ехала чуть впереди, покачиваясь в такт ровному ходу иноходца. Камил видел профиль ее широкого скуластого лица. Она сидела в седле грузная, широкоплечая. В глазах ее с выгоревшими от палящего солнца ресницами была грусть, особая задумчивость — такое Камил

видел только у женщин, умеющих скрывать от людей свои личные горести и заботы. Камил помнил ее другой, когда она — молодая женщина, сбросившая паранджу, — первой села на трактор. Она была тогда черной и худющей, как девочка, такой худющей, что подруги не давали проходу ее мужу Хашиму Палвану. Палван — значит силач, богатырь. Таким и был Хашим, и подружки Инобат кричали, увидя его: «Палван-ака, нельзя все жирное кушать самому — подумайте о жене!» Хашим хохотал и отвечал, что хорошая жена должна лучшие куски отдавать мужу. Помнил Камил и младшую сестру Инобат, похожую на нее как две капли воды, такую же тоненькую, черноглазую и чернобровую. Они вместе учились в школе, и Камил был по уши в нее влюблен. Уже студентом техникума, приезжая на каникулы, Камил посылал ей книги с вложенными в них записками. Она не отвечала на письма, но, возвращая книгу, всегда вкладывала в нее цветок. Сестра Инобатхон давно вышла замуж, а Камил до сих пор хранил кипу книг с сухими лепестками красной розы и пахучими кустиками райхона...

Дернув поводья лошади, Камил поравнялся с буланым ипоходцем.

— Вы расстроились, Инобатхон... Не надо... В работе всякое бывает...

— Да, бывает...

— Что пишет Хашим-ака? Когда выпишется из госпиталя?

— Откуда он может знать? Бесхитростный человек, когда выпишут, тогда и выйдет. — Инобат вытерла узорчатым платочком потный подбородок, сказала: — Не обращайтесь на меня внимания, Камилджан, у женщин бывают такие минуты...

— Еще одно слово, Инобатхон. Если нужно, пусть парни остаются на хлопке.

— Нет. Не надо гонять их с места на место... Они умеют работать. Если им поручить, караван ишаков будет успевать делать две ходки. — Выгоревшие на солнце ресницы Инобат странно дрогнули, и она, зашпешив, ударила ипоходца камчой.

Инобат понимала — лишние шестьсот гектаров зерна вызовут увеличение плана всему району. Ей бы самой было спокойнее без этих гектаров. Как любил говорить Эртаев: на нет и суда нет. Но что делать, если женщины, желая помочь мужьям, братьям, возлюбленным, решили

вырастить хлеб? Разве можно винить их за то, что они пахали целину, запрягая коров в соху и плуги, потому что не хватало лошадей? Разве можно винить за то, что вырастили хлеб?!

Впереди показался Караул-тепа — последний холм, за которым лежала катра-абадская степь. Холм можно было объехать, но Инобат намеренно пустила буланого напрямик и остановилась, только поднявшись на вершину.

От подножия холма и до самого горизонта волнами ходила пшеница. Ее сладковатый запах напоминал запах только что испеченных лепешек. Хлеб был таким высоким, что выравнивал степь, скрывая под собой холмики и ложбины. Это золотистое море, сливающееся с небом, было похоже на муравейник с рядами шалашей, камышовых лачуг, юрт, с буртами пшеницы на токах, с группами людей, волов, ишаками. Все это непрерывно двигалось, перемещалось, жило... «Ничего не поделаешь, товарищ Эртаев, хлеб есть, и надо его убрать», — думала Инобат.

Шалаш громко именовался штабом. Камил привел сюда троих парней.

— Вы все комсомольцы? — спросил он, и на его скуластом лице появились ямочки от улыбки.

— Мы? — удивился Кучкар. — Вот Дивана — комсомолец! А мы беспартийные большевики.

Машраб прозевал этот момент разговора: он засмотрелся на орден Красной Звезды на выцветшей гимнастерке Камилы. Ему даже казалось, что и раненая рука, подвязанная на груди, очень шла парторгу. Машраб просто не знал, чего бы он хотел больше — орден или раненую руку. Конечно, лучше всего иметь и то и другое, как Камил.

— Отлично, — говорил Камил. — Беспартийные большевики нам тоже нужны. Мы вручаем вам караван ишаков. Если перевести на военный язык, вы оба командиры, а Машраб — комиссар. Правда, караванщиком считается Ядгарбек, но он так и останется караванщиком, а руководить работой будете вы. Что вы на это скажете, джигиты?

— Что тут скажешь! — отвечал Кучкар. — Если при этом будут еще и кормить, то считайте дело сделанным: бедняку лишь бы сытно поесть...

Камил рассмеялся.

— Вот это по существу, — сказал он и повел парней в лог, густо заросший камышом. По краю камыша женщины

с пылающими от жара лицами пекли в земляных тандырах лепешки, в закопченных казанах кипела ячменная похлебка.

— Повар-апа! — сказал Камил. — К нашему каравану прибились еще трое джигитов. Они обещают удивить нас работой, если мы сумеем их накормить.

Повар-апа, женщина огромного роста с меченым оспой лицом, складывала выпеченные лепешки. Она критически оглядела парней, словно прикидывала, что стоит их обещание.

— Похоже, и правда будут работать, — сказала она. — Надо накормить! — Женщина неожиданно улыбнулась. — Эй, не сын ли ты Гульсум? Твоя сестра Мастура тоже здесь. Ее бригада на жатве. Ну-ка, стреножьте своих ишаков, милые мои, и подсаживайтесь поближе.

Машраб связывал передние ноги ишака, пряча от друзей лицо. Он очень серьезно принял слова Камила о назначении комиссаром. Машраб только боялся, что Кучкар все испортит. Тот сидел на корточках над родником и пил, доставая тюбетейкой воду. Что может быть прекрасней родниковой воды после утомительного пути через знойную степь? Кучкар выпил одну за другой две тюбетейки и стал кувыркаться от восторга по траве.

— Молодец, Эртаев-ака! всю жизнь мечтал о такой ссылке!..

Машраб косился на Кучкара. Он полагал, что тот ведет себя легкомысленно для командира. Подошла повар-апа, неся три касы похлебки и три лепешки.

— Кушайте, милые, — сказала она. — Бедняк поест досыта и уже богат.

Лепешки, хоть и с примесью ячменя, сами проскакивали в горло. А охлажденная похлебка из очищенного ячменя! От нее так вкусно пахнет айраном.

— Ох-хо-хо! — вздыхал Кучкар. — Дай бог побольше таких трудностей. Ну-ка, преодолеем эту первую трудность, а там будет видно...

Постепенно Машраб заразился беспечно-веселым настроением Кучкара. Он бросился на душистую траву, довольный, поглаживая живот. Было очень приятно валяться в траве и чувствовать себя комиссаром. Только Акмаль, отломив и съев кусочек лепешки, остальную завернул в поясной платок и спрятал в хурджун, а теперь молча сидел, прикрыв глаза. С тех пор как отец уехал в трудовой батальон, забота о многодетной семье легла на его плечи.

Акмаль решил, что должен сэкономить хурджуи лепешек, чтобы обрадовать ораву братьев и сестер. Машраб, занятый собой, ничего не заметил. Он лежал на спине, глядя в светло-голубое жаркое небо. Кучкар толкнул его в бок, сказал:

— Спокойно, Дивана. Тесть едет!

Машраб резко оттолкнул руку Кучкара и приподнялся. Курбан-ата ехал по большой дороге на сером ишаке. Он сидел в седле так, будто под ним был не ишак с обрезанными ушами, а чистокровный иноходец. Ишак свернул в лощину, и над камышом поплыла огромная синяя фуражка.

Курбан-ата остановил своего «иноходца». Тот оскалил огромные желтые зубы и заревел неизвестно по какой причине. Переметные сумки на седле были набиты газетами. Густые брови старика стали белесыми от пыли, а кончики редковатых усов, лихо закрученные, торчком стояли по обеим сторонам носа. Парни вскочили, хором поздоровались:

— Салам вам, отец!

— Харманглар! — ответил тот, что означает по-русски: будьте неутомимы, не уставайте...

Старику, похоже, понравился бравый вид парней, их дружное приветствие. Он, сощурясь, оглядел их, сказал:

— Так. Значит, и вы приехали на трудовой фронт?

— Приехали, отец! Приехали!..

— Правильно сделали. Мы в ваши годы гоняли по горам басмачей, Чапаев бил белоказачков в России, а мы здесь, в Средней Азии. Ваши отцы, Ячейка и Клыч, были славными джигитами...

Машраб стоял, старательно выпячивая грудь, и боялся одного, чтобы Кучкар не расхохотался или не выкинул чего-нибудь еще. Курбан-ата деловито раскрыл переметную сумку, достал кипу газет и протянул Машрабу — он ближе всех стоял к нему, — но Машраб решил, что Камил уже успел сказать старику о том, что сын Агзама назначен комиссаром.

— Читай вслух, чтобы все слышали. Как говорил товарищ Ленин: человек, не читающий газет и журналов, — это политический слепец.

— А товарищ Чапаев читал газеты, отец?

Так и есть, Кучкар уже что-то затеял.

— Обязательно!

— «Правду Востока» тоже читал?

Курбан-ата смотрел куда-то в степь, задумчиво жевал губами. Он заподозрил что-то неладное в вопросе Кучкара, но не мог понять — что? Поэтому, помолчав, неопределенно ответил:

— Товарищ Чапаев был за Интернационал, — после чего сел на ишака, прямой и важный, и ноги его в стремених почти касались дорожной пыли.

— Вот это тестя выбрал себе Дивана! — смеясь, сказал Кучкар, когда старик отъехал. Он просто катался по траве от хохота.

— Не приставай к человеку! — сказал Акмаль.

Машраб лежал на траве и просматривал газету, потом брошюры. Сначала он только делал вид, что не обращает внимания на Кучкара, а потом действительно увлекся чтением. Вести были перадастные. На Орловско-Курском направлении начались тяжелые бои. В передовой статье было сказано: «Враг перешел в наступление. Положение вновь стало тяжелым». Машраб полистал брошюру в бледно-желтой обложке. Мелькали знакомые имена Хамида Алимджана, Гафура Гуляма, Абдуллы Каххара и среди них имя Бориса Горбатова. Некоторые статьи и очерки Машраб читал раньше в газетах и журналах, а вот очерк Горбатова «Пядь родной земли» Машраб не читал. Он только помнил имя Бориса Горбатова по книге «Рядовой Иван Куликов».

За холмом раздалась рев ослов и крики мальчишек:

— Давай, давай!..

— Шевелись!..

Заколыхались камыши, и широкая низина заполнилась ишаками и их погонщиками, мальчишками тринадцати — четырнадцати лет. Лица мальчишек почернели от зноя, губы пересохли, потрескались, пыльные ноги кровоточили свежими царапинами. Но мальчишки были веселы, словно вернулись после шумной игры, а не прошли десятки верст до города и обратно.

— Обед готов, повар-апа?

— А лепешки? Как лепешки?

— Э, Кучкар-ака, какими судьбами?

— Смотрите, Акмаль-толстяк и Машраб Дивана тоже здесь...

— Вся троица в сборе...

Мальчишки орали, пили воду, хохотали, толкались.

— Чем попусту горло драть, лучше послушайте, что Борис Горбатов пишет, — громко сказал Машраб и, не до-

жидаясь тишины, начал читать вслух очерк Горбатова. — «Товарищ! — читал Машраб. — Забыл ли ты виселицы в Ростове и над тротуаром синие ноги повешенных... — Машраб почувствовал, что голос его задрожал от волнения. — Товарищ! Мы деремся с тобой на родной земле, и донские степи — друзья нашей юности, и Северный Донец — река нашего детства...»

Мальчишки слушали. На тех, кто еще не угомонился, покрикивали:

— Будет вам!..

— Тихо!..

Машраб чувствовал себя настоящим политическим комиссаром. Он уже не боялся насмешек Кучкара.

— «...И не было на всем нашем фронте воина более славного, более любимого, чем разведчик Сираджитдин Валиев, узбек из Ферганы, — с пафосом читал Машраб, и голос его звенел от волнения. — На его родине, в золотой Фергане, вода журчит в прохладных арыках, а драться Валиев пришел за мой пыльный и дымный Донбасс. На его родине, под кипарисами, мирно спят его предки, а умер Сираджитдин Валиев, — голос Машраба перехватила спазма, — в бою подле шахты и там похоронен. Вся дивизия плакала, когда хоронили Валиева. Таманцы, железные воины, не скрывали своих слез...»

— Товарищи! Встать!.. Прошу почтить память верного сына чапаевского племени, мужественного борца за мировую революцию товарища Сираджитдина Валиева! — командовал за спиной Машраба Курбан-ата. Машраб не видел, как он подошел вместе с Камилем. Старый вояка стоял смиренно, поднеся ладонь к козырьку огромной фуражки. — Вольно, — сказал он и снял фуражку. Его выпуклый лоб — в росинках пота, лысая голова блестела, как медный поднос. Мальчишки смотрели на него, будто видели впервые, и глаза их поблескивали.

К Машрабу подошел Камил, сказал:

— Молодец, Машрабджан. Я рад, что не ошибся в тебе. Ты настоящий комиссар!

Курбан-ата тоже подошел к Машрабу и пожал ему руку. Машраб чувствовал себя на седьмом небе. «Держись, Эртаев-ака», — подумал он, понимая, что еще два-три таких поступка, и все Эртаевы будут бессильны испортить его судьбу.

— Вы устали, ребята, я знаю, — сказал Камил мальчишкам. — Но вы слышали, как поступают бойцы на фрон-

те... Мы можем помочь им даже здесь, в тылу! В такое время и фунт зерна — огромная помощь армии. А на току у нас набралось много зерна. Если выйти немедленно, мы успеем сделать еще один ход.

Кучкар, сидевший понуриив голову, вскочил:

— Мы готовы! Скажите: везти надо днем и ночью — будем возить.

— Спасибо, друзья мои! — сказал Камил. — Напоите своих ишаков — и в путь!..

Это был очень долгий и трудный путь.

Сначала пошли на ток. Белую, льющуюся сквозь пальцы пшеницу ссыпали в большие мешки, сотканые из грубошерстных ниток. Потом подогнали ишаков и стали грузить на них мешки. Ишаки были разные: одни крупные и сильные, как жеребцы, другие мелкие, с провисшими животами и стертными шеями. Но мешки были одинаковые, и разбираться, у кого какой ишак, не имело смысла. Мальчишки грузили мешки и между делом успевали побороться тут же на сыпучих буртах пшеницы или хлестнуть чужих ишаков, и те взбрыкивали и по-змеиному водили головами на длинных шеях, пытаясь прихватить зубами обидчиков. Наконец караван нагрузили, и Камил дал команду трогаться, проводив ребят до холма.

От Катра-абада до города было километров пятнадцать — шестнадцать. Дорога шла по ровной, как стол, степи. Местами степь пересекали русла высушенных знаемых рек. Солнце клонилось к западу, и по степи вытянулись длинные тени шагающих ишаков. Зной, казалось, не только не убавился, а стал еще более сухим и жгучим, и степь была похожа на раскаленный тандыр. Все живое куда-то попряталось. Даже беркуты, обычно парящие в воздухе, исчезли, словно растаяли в глубине неба. Только иногда в зарослях выжженной травы высывалась мордочка суслика, словно живое золото, исчезал в поре скорпион, из-под копыт ишака выпрыгивала и терялась в траве змейка-пулька. На дороге, разбитой арбами, пыль была по колено, поэтому караван ишаков шел по широким обочинам. Погонщики путались босыми ногами в жесткой сухой траве.

Странные животные ишаки: чем больше они устают, тем стремительней становится их шаг. Они быстрее переставляют ноги, чтобы не упасть. Мальчишки давно уже



бежали рядом с ишаками, с надеждой поглядывая вперед воспаленными от солнца глазами, туда, где появлялись и снова исчезали из вида пригородные сады. Иногда то один, то другой приседал у обочины, вытаскивая из пятки колючку или потирая ушибленный о булыжник палец, а потом снова бежал, догоняя своего ишака. Машраб тоже бежал, хватая открытым ртом сухой пыльный воздух, обжигающий горло. Ноги стали плохо слушаться, он отставал, и, чтобы вновь догнать ишака, ему приходилось делать над собой усилие. «Вот так комиссар!» — говорил он себе. Впереди него бежал Акмаль-толстяк. Полный и к тому же косолапый, он бежал, тяжело дыша, и пот на его лице, мешаясь с пылью, стекал грязными потеками.

Когда до города оставалось шесть-семь километров, споткнулся и упал, подняв облако пыли, передний ишак. На него натыкались и тоже падали другие ишаки. Поднялся шум, крики. Когда пыль осела, стал виден виновник переполоха. Это был шуленький мальчик, которому на вид можно было дать не больше одиннадцати — двенадцати лет. Кто-то крикнул:

— Э, это же «Информбюро»!

Мальчик стоял, обхватив за шею своего ишака, словно что-то нашептывал ему на ухо.

— Что с тобой, Информбюро? — спросил, подбегая, Машраб.

Мальчик молчал, виновато улыбался, сквозь пот и пыль на его лице проступала бледность.

Прискакал на своем иноходце Ядгарбек. Он далеко обогнал караван, и ему пришлось возвращаться. Ядгарбек был зол оттого, что Камил снял его со спокойной работы весовщика и сделал караванщиком, но еще больше злило то, что погонщики ишаков не обращали на него никакого внимания.

— Возьми глаза в руки, растяпа! — заорал он, осаживая коня.

— Чего орешь! Не видишь?! — спросил его Кучкар. Кучкар стоял, обхватив маленького погонщика за худенькие плечи, и уже в который раз переспрашивал: — Скажи, что ушиб?

Мальчишка улыбнулся жалко и в то же время озорно.

— Что пристали?.. Поговорить с собственным ишаком не дадут. Просто держу совет с моим черным Дул-Дулом.

Кругом засмеялись. Кучкар спросил:

— Что же говорят твой Дул-Дул?

Мальчик, видимо, пересилил боль, развеселился.

— Извините, говорит мой Дул-Дул, задремал чуточку, не заметил, как упал... Скажите всем остальным, что я не советую им клевать носом.

— Пошли, пошли! — торопил Ядгарбек.

Караван тронулся, обходя мешок с пшеницей, валявшийся в пыли. Кучкар схватил его в охапку и бросил на ишака. Мальчик попробовал пойти, держась за холку, и, охнув, присел.

Кучкар подогнал своего ишака и усадил на него мальчишку.

Появились и росли на глазах сады пригорода. Оттуда донесло гудок паровоза, и через какое-то время в степь выкатился товарный состав. Рядом с вагонами скользили длинные, скошенные тени. Паровоз дымил далеко в степи, а из-за деревьев выскакивали вагоны, цистерны, крытые брезентом платформы.

— Пятнадцать... двадцать... тридцать пять... сорок!..

Мальчишки сбились со счета. Одни насчитали шестьдесят, другие шестьдесят пять вагонов. Давно промелькнул последний вагон и весь состав скрылся за холмами, а мальчишки продолжали спорить, сколько вагонов, что и куда везут.

Не заметили, как подошли к станционной площади.

За высоким забором, по верху которого была натянута колючая проволока, торчали красные кирпичные стены складов. Огромные ворота закрывали железнодорожные пути.

Площадь перед воротами была уставлена подводами, арбами. Кричали ишаки, поворачивали головы верблюды, лошади жевали клевер. В тени под арбами сидели и стояли люди.

Караван мгновенно затерялся в этом таборе. Откуда-то из-за арбы выкатился полный, кругленький человечек в ватном халате с тугим, лоснящимся от пота лицом.

— А я думал, где вас искать, Эшмат-ака? — сказал Ядгарбек.

— Зачем меня искать? Камил-ака предупредил, что будет еще одна ходка, и я жду вас, — ответил Эшмат-экспедитор, тот самый, что давно должен был находиться в армии, в трудовом батальоне, но вместо которого Чавандаз отправил в армию отца Акмаля.

Эшмат повел караван вдоль забора. За углом оказались еще одни ворота. Здесь тоже было много людей и

арб. Эшмат с Ядгарбеком прошли в ворота, а мальчишки, не чуя ног от усталости, повалились на землю, вытаскивая занозы и рассматривая сбитые пальцы.

Прибежал, прихрамывая, Информбюро, сообщил:

— Сдадим без очереди! Эшмат-ака договорился.

Почти тотчас появились Эшмат с Ядгарбеком.

— За мной, мальчишки, за мной,— заторопил Эшмат.

Всем, кто пытался преградить дорогу каравану, Эшмат кричал:

— Пшеница сверх плана в фонд Красной Армии! Сначала выполнен план, а потом будешь требовать очереди! Посторонись, посторонись! — покрикивал Эшмат.— Сюда, соколы! Сюда, джигиты, ставьте ишаков на весы...

Машраб никогда не видел весы, на которые можно загрузить ишака. Он вместе со всеми вошел на деревянный, пружинящий и колыхающийся под ногами настил. Весовщики ходили по настилу и пересчитывали ишаков.

— Сорок восемь?

— Как сорок восемь? Сорок девять! — крикнул Кучкар.

— Проходите! Проходите: одним ишаком больше, одним меньше, какая разница, — торопил Эшмат-экспедитор, посмеиваясь.

Караван остановился возле створчатых ворот в стене высокого здания из красного кирпича.

— Ну, соколы! Ну, джигиты! Взялись!..— Эшмат-ака обхватил воображаемый мешок короткими полными руками и присел, как будто поднял огромную тяжесть. Заплывшие глазки сияли, и сам он исходил дружелюбием.— Хорошо, что вы здесь, соколы! Помогите этим цыплятам! — говорил он.

Дорога в город по знойной степи показалась легкой прогулкой сравнительно с тем, что началось, когда стали разгружать ишаков. Машраб это понял, когда взвалил на спину четырехпудовый мешок и по узкой, прогибающейся доске пошел на гору пшеницы. С мешком на спине пришлось взбираться на высоту двухэтажного дома, а доски были приставлены так круто, что уже на половине дороги у Машраба стали дрожать колени. Он с трудом прошел до конца, останавливаясь через каждые пять-шесть шагов, чтобы перевести дух, сбросил с плеч мешок и, теряя равновесие, сел. По доске, как муравьи, подымались мальчишки, вцепившись по три-четыре человека в мешок. Говорят, стыд тяжелее смерти. Машраб поднялся и, сторо-

нясь мальчишек, спустился вниз. Он поднял на гору пшеницы еще четыре мешка, после чего свалился в тени под воротами. «Молодец, товарищ комиссар», — издевался он над собой, но все равно не мог заставить себя взяться за новый мешок. Да и смысла не было: он бы все равно не сдвинул мешка с места. По доске вверх и вниз пробегали Кучкар с Акмалем. Они вдвоем остались на разгрузке зерна. Мальчишки внизу помогали им взвалить на спину мешки. Кучкар подставлял плечо под мешок, приговаривая:

— Ну-ка, наваливай, твоя очередь!.. — потом, твердо ступая, шел вверх, и доска пружинила под его сильными погами.

Акмаль таскал мешки молча, косолапо переставляя ноги. Со стороны казалось, что таскать мешки не представляет для него никакого труда. Он не обращал внимания ни на похвалы, ни на пот, который ручьями стекал по лицу и спине. Лишь время от времени Акмаль коротко приказывал:

— Воды! — Выпивал не отрываясь колодезной воды и снова брался за очередной мешок.

На земле оставалось десять — двенадцать мешков. Машраб встал, и мышцы заныли в ожидании тяжести. Ему помогли взвалить на спину мешок, и он пошел вверх, стараясь ступать след в след за Акмалем. Высыпал пшеницу, и захотелось посидеть, не спешить, подождать, чтобы Акмаль и Кучкар успели отнести по два-три мешка. Он сознавал, что желание это подлое, и надо было совершить усилие, чтобы заставить себя спуститься вниз.

Когда на Машраба взвалили мешок, он понял — не пойдет, но пошел, пригибаясь все ниже и ниже, пока не ткнулся головой вперед. Тяжесть мешка вдавила его в сухое сыпучее зерно, расслабили мышцы, и наступила блаженная легкость.

Машраб и Мастура сидели в шалаше, не зажигая огня. Это напоминало Машрабу далекое детство, когда Мастура, спасая брата от гнева родителей, пряталась вместе с ним где-нибудь в укромном уголке. Сколько Машраб себя помнил, Мастура всегда была его надежной защитой. Так было до замужества, так осталось после замужества, так продолжалось и теперь, когда Мастура стала матерью двух дочерей-близнецов — Фатимы и Зухры.

Машраб, который был на десять лет моложе сестры, навсегда остался для нее маленьким братишкой, нуждавшимся в ее помощи и защите.

— От твоего зятя, конечно, писем нет? — с надеждой, что письмо от мужа каким-то чудом пришло, спросила Мастура и опустила глаза.

— Нет... — Первое время Машраб очень ревновал сестру к Расулджану, но потом полюбил зятя почти так же, как брата. И теперь любовь и верность Мастуры мужу вызывала у Машраба нежность к сестре.

— А от Ашрафджана? — спрашивала Мастура.

— Тоже нет...

Мастура отвернулась, глядя в светлый треугольник входа, в котором догорал этот длинный летний день. Машрабу захотелось взять огрубевшую руку сестры и поцеловать, но в это время Мастура спросила:

— Как Фатима, здорова?

— Да...

— А Зухра? — Мастура улыбалась. Она никогда не произносила имена дочерей вместе: девочки, как две капли воды похожие друг на друга, жили в ее сознании отдельно, каждая представляла свой собственный мир.

— Тоже здорова... Бабушка на них не нарадуется.

— Дорогая моя буви, — сказала Мастура. — Сначала вынянчила детей. Потом нас — внуков. Теперь нянчит правнуков. Она, наверно, совсем старенькая?

— Что ты? Бабушка помолодела!

— Не смейся, — сказала Мастура и сама засмеялась. — Иногда кажется, что с тех пор, как мы уехали из кишлака, прошел не месяц, а целый год. — А как Барно? — Мастура дотронулась до руки брата. — Ты видел ее?

— Видел... Ничего, бегаёт! Ты лучше расскажи, как сама живешь. Совсем похудела. Наверно, очень устаешь?

— Ничего, привыкла. — Мастура заметила, что брат смотрит на ее руки, и, как маленькая, спрятала их за спину. — В первые дни по неопытности поцарапала. Теперь ничего. За день жну четверть гектара...

— Ну да!

— Не веришь? Наш бригадир, Курбан-ата, тоже не верил... Он говорил, что нам, интеллигентам, никогда не угнаться за колхозниками. А вот угнались. Мне еще приходится, как фельдшеру амбулатории, врачевать. Может, зажечь свет?

Машраб промолчал. Он пришел к сестре, как только

вернулись из города, а она по этому случаю пораньше ушла с поля. Мастура тоже молчала, подрезая фитиль коптилки.

— Говорят, ты сегодня прочел стихи и потряс всех мальчишек? — спросила она.

— Не стихи, — Машраб покраснел, — статью одного писателя. Если бы я умел так писать!

— Курбан-ата очень тебя расхваливал. Я думала, ты сам написал.

К шалашу шли женщины и пели. Грустная песня неожиданно оборвалась. Кто-то повел веселую частушку:

Разрушу запруду, открою арык,  
веселую воду пуцу на цветник.  
Пускай я девчонка, себе на беду,  
а все же я тоже в солдаты пойду<sup>1</sup>.

У входа в шалаш женщина сказала:

— Говорят: страшно, как на фронте, а я бы на крыльях полетела к моему Мурадджану!

— Не гневи бога. Скажи спасибо...

— Это за что же говорить спасибо? Чем жить здесь в разлуке, лучше умереть с милым...

Женщины засмеялись. Мастура быстро глянула на Машраба, сдерживая улыбку. В шалаш заглянула девушка, крикнула:

— Ой, погибель моя, совсем взрослый джигит!

В шалаше сразу стало шумно и тесно. Машраб почти оглох.

— Мы слышали, ты написал стихи? Читай!

— Если не прочтет, не выпустим...

— Много требуем! Какое дело до нас, грешных, поэту-ака!

Мастура обняла Машраба за плечи, как бы защищая его от подруг.

— От вашей красоты ослепнуть можно, — сказала она. — Пойдем, братишка!

Выйдя из шалаша, Мастура сказала:

— Что делать! Молодые, красивые — томятся в разлуке, бедняжки.

В степи было темно. Лишь на хирмане — на току — горели фонари. Слышались голоса людей, обмолачивающих пшеницу, резкое хлопанье плети, хруст и треск ломающихся палок и истошный крик кого-то из погонщиков:

<sup>1</sup> Здесь и далее перевод стихов А. Наумова.

— Еще ишак называется! Захромал, подлец! И-их!..

Мастура остановилась возле высокого стога, похожего в темноте на черный силуэт горы, и нежно поцеловала Машраба в лоб.

— Скоро рассвет, отдохни,— сказала она.

— И ты отдохни...

Обогнув стог, Машраб, еле-еле передвигая ноги от усталости, то и дело спотыкаясь, доплелся до родника. Мальчишки спали вповалку, свернувшись клубком, подложив под головы потники и укрывшись мешками. Машраб отыскал Кучкара и Акмаля и улегся рядом. Уже засыпая, вспомнил разговор с Эртаевым, подумал: «Нашел кого пугать степью! Мы еще не то выдержим, Эртаев-ака!»

## ГЛАВА ПЯТАЯ

У вершины холма, на кладбище, кричала сова. Муяссар проснулась от ее крика и больше не могла заснуть. Кладбище спускалось по склону холма к хлопковому полю бригады «интеллигентов». Вот уже несколько ночей залетевшая на кладбище сова не давала Муяссар спать.

Взрослые последнее время жили как-то напряженно, нервно. Вчера на производственном совещании Инобат заставляла бригадиров хлопководческих бригад вставать и стоя выслушивать замечания. Она обрывала выступавших, лишая их слова. Такого с вежливой и всегда выдержанной Инобат пикогда не было. Инобат пощадила только Гульсум-апа, хотя в бригаде «интеллигентов» вновь назначенные поливальщики — пожилые женщины из сельпо и школьный счетовод — затопили хлопчатник. Гульсум-апа недоумею и явно неодобрительно поглядывала на председателя колхоза. Инобат поняла ее взгляд, после совещания подошла к подруге и сказала:

— Что же можно сделать, ападжан?!

Гульсум-апа тотчас смягчилась. Обе женщины стали думать, что делать, забыв про Муяссар. Казалось, они заходили в тысячу и одну улицу, но в какую бы улицу ни заходили — все равно попадали в тупик. Муяссар слушала их и молчала. Все дело упиралось в недостаток рабочих рук.

— Надо обратиться к гостям,— сказала Гульсум-апа.— Среди них много молодых и здоровых.

— Захотят ли они? — усомнилась Ипобат. — К нашей работе нужна привычка...

— Привыкнут. Я поговорю с Серафимой Федоровной.

Муяссар знала, что мать Ларисы немного поправилась. По вечерам, когда спадал зной, она выходила на айван и, опираясь на подушки, сидела на кровати.

На кладбище по-прежнему зловеще ухала сова. Казалось, она вступила в перебранку со всеми покойниками. У Муяссар сжималось сердце от этих криков. Она вообще боялась темноты, а тут еще эти раздирающие душу крики. Из-за них она и промолчала вчера на совещании. А ведь самое простое было попросить доверить полив девушкам-комсомолкам, самой взяться за это трудное дело, — ведь она видела, как поливал Машраб, и кое-чему научилась. Но поле было по соседству с кладбищем, и Муяссар ничего не сказала Гульсум-апа.

Она свернулась клубочком под одеялом, презирая себя за трусость, а когда стало светать и сова наконец угомонилась, Муяссар быстро оделась. Не дожидаясь утра, Муяссар прибежала к Гульсум-апа.

— Что случилось? Ты откуда в такую рань?! — Гульсум-апа села, отбросив одеяло, и в полумраке тревожно всматривалась в девушку.

— Не волнуйтесь. Ничего не случилось. Просто я решила, что смогу поливать сама. А чтобы днем не передумать, прибежала к вам.

Гульсум-апа засмеялась, прилегла, отодвигаясь к стене, сказала:

— В такую рань единственно разумное дело — еще поспать. Ложись-ка и ты. Места хватит.

Утром в саду у Махиры-буви собралось человек двадцать эвакуированных. Гульсум-апа рассказала о бригаде «интеллигентов» и о том, какое трудное положение сложилось в колхозе. Одна из сестер Святковских, сидевшая под яблоней, луца семечки, перебила:

— Вы газеты читаете? Вы слышали, что надо проявлять заботу о нас?

— Слышала, — сказала Гульсум-апа.

— Большинство из нас больные, — продолжала младшая Святковская.

— И об этом знаю...

— Если знаете, тогда о чем разговор? На худой конец, найдите нам работу полегче.



— А если полегче работы нет?

— А вы обязаны найти,— сказала старшая, а младшая тут же добавила:— Говорят, красавица в правлении — ваша сноха. Поставьте меня на ее место...

Гульсум-апа не была готова к такому разговору, да и запаса русских слов для того, чтобы полемизировать с сестрами, у нее не хватало. Она растерянно посмотрела на Серафиму Федоровну.

— Какая забота может быть больше той, которая проявлена к нам, товарищ Святковская? — спросила Серафима Федоровна.— Вот приютили нас. Делятся всем, что сами имеют...

— Вы просто попали в хороший дом. Посмотрите, в какой грязи и сырости живем мы. Да еще и хозяйка, у которой среди зимы снега не выпросишь...

— Мы сегодня же проверим и переселим вас в другой дом,— сказала Гульсум-апа.

Старшая сестра запротестовала:

— Старуха действительно жадная, зато ее сын Кур-Шермат — чудесный человек, и мы никуда оттуда не пойдем,— заявила она.

— Ленинградцы, прошу вас, поднимите руки,— сказала Серафима Федоровна.

Поднялось десять рук.

— Дорогие мои земляки, если бы я была здорова, я бы знала, что мне сейчас сказать. Пусть сестры Святковские поступают так, как им угодно. Но мы — ленинградцы. Если не могу я, то сможет моя дочь. Лариса! Ты пойдешь в колхоз и будешь делать все, что тебе скажут...

Серафима Федоровна закашлялась. Пожилая женщина рядом с ней сказала:

— Стыдно в такое время требовать работу полегче.

Лариса подошла к Муяссар и сказала очень громко, чтобы слышали сестры Святковские:

— Я буду делать то, что будешь делать ты, Муяссар!

Так три девушки — третьей была Гульчехра — стали в поле поливальщицами вместо трех парней. Самой храброй из них оказалась Лариса. Когда ночью на кладбище начала кричать сова, Лариса стала рассказывать все, что знала по зоологии об этой птице. Оказалось, что ничего страшного в сове нет, что птица эта очень полезная, потому что уничтожает грызунов. Лариса так хорошо об этом рассказывала, что обе ее подруги, успокоенные, уснули.

Но в это время всплеснулась вода в большом арыке, словно в нее обвалилась земляная глыба. Муяссар открыла глаза, вскрикнула:

— Ой!

— Мамочка! — испуганно воскликнула и Гульчехра. Лариса встала и, шагнув в темноту, крикнула:

— Кто там?

Кто-то выругался:

— Чтоб тебя! Спотыкаешься на ровном месте...

Послышался топот копыт, и наконец мужской голос спросил:

— Напугал вас, милые девушки?

— Э, ведь это Ядгарбек, — сказала Гульчехра.

Муяссар крикнула:

— Что вы тут делаете в полночь?!

Ядгарбек по ту сторону арыка метался огромной черной тенью на гарцующем коне.

— Во-первых, уже не полночь, а рассвет, Муяссархон, — сказал он. — Кроме того, прежде чем вернуться в степь, решил сделать маленький подарок. — Ядгарбек перегнулся с седла и протянул над арыком небольшой узел. — Немножко винограда... Возьмите, Гульчехра.

Гульчехра взяла узел и хихикнула. Ядгарбек выпрямился в седле, сказал:

— Не сердитесь, Муяссархон, это от чистого сердца, и притом из собственного сада...

Он ударил камчой лошадь и поскакал к черной волнистой линии горизонта.

— Что-то часто он стал тебя навещать... Зачем взяла виноград? — спросила Муяссар.

— Ой, что мне делать, если дарит? — притворно вздохнув, сказала Гульчехра, растягивая слова.

— Давайте посмотрим, что за виноград. Может быть, и говорить не о чем, — пошутила Лариса. — А может, завтрака не надо будет... Смотрите, светает...

В долине ревел ишак, в дальнем конце кишлака запел петух, другой петух пропел ближе и потому громче, подул ветерок, и жесткие листья хлопчатника упруго закачались, постукивая друг о друга.

Виноград оказался сочным и сладким.

— Парень, наверно, весь виноградник обшарил, пока выбрал эти кисти, — сказала Лариса.

Гульчехра, очень довольная, хихикала. Муяссар назидательно сказала:

— Виноград действительно сладкий — потом бы не было горько...

Девушки пошли вдоль борозд, осматривая поле и проверяя запруды. Тем временем небо из зеленого стало голубовато-серым. Одна за другой гасли звезды, запели птицы. Где-то на кладбище тосковала горлянка. Даже не верилось, что совсем недавно была ночь с ее страхами.

Пришла Гульсум-апа. Муяссар рассказывала о почных страхах и смеялась.

— Сейчас смешно, — сказала она. — А если бы не Ларисахон, я бы, наверно, убежала, когда на кладбище закричала сова...

Гульсум-апа окинула глазами поле, похвалила подружек. Она взяла у Ларисы кетмень и подправила запруду.

— Завтра выйдут в поле эвакуированные. Не знаю, так ли быстро, как ты, освоятся они с работой?

— Не беспокойтесь, освоятся, — сказала Лариса.

...Эвакуированные действительно освоились быстрее, чем предполагала Гульсум-апа. Она прикрепилась к каждой узбечке по одной русской женщине, но уже через день эвакуированные справлялись с работой самостоятельно и даже лица укутывали платком, а поясицы обвязывали скатертями, как узбечки. Лица, в первые дни опаленные солнцем, постепенно смуглели. Русские и узбечки научились понимать друг друга, мешая русские и узбекские слова в особый, им одним понятный жаргон. Когда старшая Святковская говорила:

— Паранджу сняли, а большой-большой кетмень дали, — ее очень хорошо понимали, и все весело смеялись.

Кто-то сказал:

— Вот и мы стали узбечками...

Младшая Святковская, Марина, тут же заметила:

— Узбечками-то мы стали, а вот признают ли нас узбекские парни?..

Гульчехра и Лариса смеялись, а Муяссар почему-то сердилась. Марина это заметила и постоянно ее поддразнивала.

— Свои не признают, ваши не примут — куда денешься? Муяссар, найди мне хорошенького царенька, — говорила Марина и подмигивала подругам.

Муяссар краснела от негодования:

— Вы, наверно, забыли, что идет война?!

— Живой думает о живом... Тебе хорошо, я слышала, твой парень рядом с тобой. Уступила бы его мне, а? Во имя дружбы народов...

Женщины смеялись. Муяссар понимала, что ее разыгрывают, и сердилась еще больше. Она поднимала платок до самых глаз и полола, повернувшись к Марине спиной. Но стоило смолкнуть шуткам, как начинались невеселые разговоры, от которых горечью закипало сердце. Кто-нибудь говорил:

— Скоро ли эта проклятая война кончится?!

— Увидим ли родных, близких?

— Ни жёны, ни вдовы — одно слово, солдатки...

От таких разговоров злее работали, с остервенением выдирая сорняки, окучивая кетменями кусты хлопчатника.

Так или иначе, сто гектаров хлопка, посеянного и выращенного бригадой «интеллигентов», полили и пропололи вовремя, и Гульсум-апа, свободно вздохнув, переключила свое внимание на школьные дела.

Кончилось лето, а до сих пор не было ясности: откроется школа или нет? А если откроется, то как быть с ремонтом, где взять дров, кто заменит ушедших на фронт учителей?

С тех пор как в конце прошлого учебного года Эртаев назначил Гульсум-апа временно исполняющей обязанности директора, с ней никто о школе не говорил. «Может быть, к началу учебного года пришлют другого директора?» — думала она. Но время шло, и она решила, что ждать больше нельзя. Не важно, кто будет директором, важно подготовить школу. Перед тем как пойти к председателю кишлачного Совета Чавапдазу, Гульсум-апа решила осмотреть школу.

В довоенные годы к этому времени просторный двор школы становился тесным от ремонтных рабочих, строительных материалов, вынесенных из классов парт, еще не убранного в сарай саксаула. Сейчас двор был пустым. Кое-где пробилась и пожухла на солнце трава. Два больших корпуса друг против друга с облупившимися стенами и размокшими от зимних дождей углами выглядели заброшенными. Гульсум-апа прошла по пустынным классам, подсчитала разбитые окна, сломанные парты, разваленные печи: школа не ремонтировалась с начала войны. Она

все тщательно записала в тетрадь, потратив на это полдня, и, не теряя времени, прямо из школы пошла к Чавандазу. Гульсум-апа перешла базарную площадь и вошла в ворота, почему-то настежь открытые. Чавандаз стоял под навесом и что-то говорил старику сторожу. Председатель увидел Гульсум-апа, улыбнулся, сдвинул на лоб новую узорчатую тибетейку и, похлопывая камчой по голенищу саного, пошел навстречу.

— Э, салам, Гульсумхон! Как жизнь? Как дела?

Было похоже, что Чавандаз поджидал ее, — так радушно он ее встретил. Это удивляло и настораживало.

— Благодарю вас. Вот пришла по делам, о которых надо поговорить, посоветоваться, — осторожно сказала Гульсум-апа.

Кажется, она не ошиблась.

— Очень хорошо, что зашли, — сказал Чавандаз. Он погладил пышные, очень красивые усы, которые украшали его лицо, сделал широкий жест рукой: — Прошу, Гульсумхон...

Они вошли в большую комнату с двумя окнами, выкрашенную блестящей масляной краской, с множеством полок и ниш в стенах, — когда-то здесь была байская гостиная, а сейчас стоял огромный письменный стол с телефоном, похожим на графин. Чавандаз прошел к столу, сел в кожаное кресло, положив на край стола камчу.

— Хоп, Гульсумхон, чем могу служить?

Гульсум-апа решила не спешить.

— Вы мне тоже что-то хотели сказать? — спросила она.

— Да так, пустяки... Хотел с вами породниться, с вашего разрешения, — сказал он и поправил на голове тибетейку, очень довольный впечатлением, которое произвели на Гульсум-апа его слова.

— Как породниться? У меня, кажется, нет незамужней дочери. — Гульсум-апа улыбалась.

Чавандаз захохотал.

— У вас нет, а в школе полно девушек... Вы все еще очень наивны, Гульсумхон. Если бросить яблоко, обязательно попадешь в девушку. В одну из них влюбился мой сын Ядгарбек.

— Кто же эта девушка?

— Дочь Фазлиддина-аксакала... Кажется, ее зовут Гульчехра...

— Но она еще ребенок. Ей нет шестнадцати лет. И потом, ваш сын тоже еще мальчик. Ведь ему едва исполнилось семнадцать.

Чавандаз больше не улыбался. Он исподлобья разглядывал Гульсум-апа. Она-то очень хорошо знала, сколько лет Ядгарбеку.

— Сколько лет было вам, когда вы вышли замуж? — спросил он. — Наши предки женили своих сыновей в шестнадцать лет на двенадцатилетних девочках, и ничего, справлялись — рожали детей.

— Но Гульчехра только в этом году окончила восьмой класс. Захотят ли родители забрать ее из школы?

— Зачем забирать? Пусть учится на здоровье. С ее отцом я договорился. А моему сыну стоит ее кликнуть — и ваша шестнадцатилетняя прилетит и сядет к нему на руки. Не упрямитесь, Гульсумхон.

— Мы не можем учить замужних...

— Ну, тогда она не будет учиться. Пусть поживут, насладятся жизнью. Сами знаете: сегодня парень жив, завтра нет!

— Что я могу сказать? Я все сказала...

— Хоп! Я вам так сообщил, для порядка. Теперь давайте говорить о ваших делах!

Гульсум-апа достала тетрадь. Чавандаз слушал, хмурясь, но не перебивал.

— Ладно, подумаем, — сказал он.

— Подумать, конечно, надо. Но время не ждет...

— Знаю, что не ждет. Очень хорошо знаю. Сейчас надо думать не об учебе, а о фронте. Это значит — думать о зерне, о хлопке, о картошке, о мясе, о яйцах. — Чавандаз, перечисляя, загибал сильные пальцы...

— Правильно, но...

— Без всяких но, Гульсумхон. — Чавандаз встал и взял со стола камчу.

— Что же мне делать? Откроем школу или нет? Если нет, то заявляю: с сегодняшнего дня слагаю с себя обязанности директора!..

Чавандаз молча смотрел на нее. Он-то думал, что эти годы поубавили у нее спеси, но, оказывается, она осталась такой, какой ее помнил Чавандаз еще девушкой: гордой и непреклонной.

— Освободят вас от директорства или нет — пусть решает тот, кто вас назначал. Мое дело думать о фронте. Я призван служить фронту...

— А мы не думаем о фронте? С весны вся школа в поле...

— Вот и хорошо. Продолжайте заниматься тем же.— Чавандаз вышел, скрипя сапогами, оставив Гульсум-апа одну в комнате.

Гульсум-апа подумывала совсем отказаться от директорства. Зачем лишние хлопоты, когда можно работать, как все? Но тут же думалось и другое: разве можно жечь одеяло, разозлившись на блоху? Она понимала, что не бросит школу, что будет добиваться дров и ремонта, не щадя ни своих сил, ни времени. Следующей инстанцией, которую надо пройти, был Эртаев. Он уезжал то в степь, то в соседние колхозы, то в город. Только на третий день к вечеру Гульсум-апа застала его в конторе. Эртаев сидел в кабинете Инобат и с кем-то разговаривал по телефону.

— Ладно, ладно, сейчас же приду...

Гульсум-апа не знала, сесть ли ей, остаться ли стоять или незаметно уйти. Эртаев положил трубку, улыбнулся:

— Салам, апа. Вы к Инобатхон?

— Нет, я к вам. Но вы, кажется, торопитесь?

— Откровенно говоря, очень тороплюсь. А что вы хотели?

— Школьные дела. Нужен ремонт, нужен керосин, а главное — нужны дрова.

— Поговорите с Чавандазом.

— Он и слышать о школе не хочет.

Эртаев некоторое время пристально разглядывал Гульсум-апа. Что она о нем думает? Почему пришла именно к нему?

— Но-о! И слышать не хочет? — сказал Эртаев и улыбнулся. Когда он улыбался, то на правой щеке его появлялась ямочка, придавая лицу по-детски наивное выражение. Эртаев вышел на середину комнаты, оправляя большими пальцами шелковую рубашку, как всегда белоснежную. — Что, если мы отложим этот разговор на день-другой, аладжан?

— Раз вы торопитесь! Просто время не ждет...

— Тогда сделаем так.— Эртаев вернулся к столу и написал записку.— Передайте это Чавандазу,— сказал он и быстро вышел.

Гульсум-апа против воли почувствовала, как на душе у нее потеплело от приветливости Эртаева. «Ув. раис-ака.

Помогите нашему дорогому директору. Понимаю, у вас и без того много забот. Но школа — вопрос политический. Устройте! С ув. Эртаев», — читала она, и где-то в глубине души шевельнулась мысль: может, она несправедлива к нему? Может, он и сам мучается от того, что совершил? Гульсум-апа зашла в бухгалтерию, чтобы повидать Барно, но новости не было. Она подождала немного и вышла из конторы.

После светлой комнаты двор, едва освещенный трехдневной луной, показался совсем темным. А на улице, стиснутой высокими дувалами, было темно, как в горном ущелье. Гульсум-апа дошла до плакучих ив над арыком недалеко от плотины. Луна, как ночник, висела над белой от пыли дорогой. Гульсум-апа услышала топот копыт и, посторонившись, остановилась в тени на обочине дороги. Мимо нее проехал фаэтон и в нем двое в белом. Если Гульсум-апа и сомневалась, то не больше мгновенья.

— Вы очень нетерпеливы! Обижусь! — сказала Барно.  
— Боюсь остаться с пустыми...

Конец фразы, сказанной Эртаевым, Гульсум не слышала. Фаэтон въехал на плотину, и лошадь перешла на шаг, а еще мгновенье — и Гульсум уже ничего не видела и не слышала, все было поглощено тенью тополей и шумом текущей воды.

Гульсум-апа стояла, словно оглушенная ударом дубинки. Не очень сознавая, что делает, она медленно, на мелкие клочки рвала записку Эртаева. Она вернулась домой в полночь и ничком, не раздеваясь, повалилась на постель. И лишь под утро немного успокоилась. Она решила, что отойдет от всех дел, не связанных непосредственно с благополучием семьи, поговорит с Барно, чтобы отвести непоправимое несчастье от сына и от нее.

Но на другой день случилось такое, что надолго выбило из головы все другие заботы.

Утром Гульсум разбудил посыльный из кишлачного Совета. На этот раз не она искала разговора с Чавандавом, а Чавандаз хотел говорить с ней. Он встретил Гульсум-апа с благородно-печальным выражением лица.

— Оказывается, вы пожаловались товарищу Эртаеву, — тихо и с обидой в голосе сказал он.

— Можете считать, что ничего не было. Теперь это не имеет никакого значения...

— Ладно! Не в этом дело! Никуда не уйдут дела этой бременной жизни. — Чавандаз глубоко вздохнул, не спеша



открыл стол и, достав желтоватую бумагу, сложенную вдвое, подвинул ее по столу к Гульсум-апа.— Ничего не поделаешь, война,— сказал он.

Гульсум, как замороженная, смотрела на бумагу, не имея сил шевельнуться. Только когда до ее сознания дошел адрес, написанный синими чернилами: «С/с Кара-Булак... Мастуре Рустамовой»,— в голове молнией блеснула мысль: «Расулджан!»

— Что делать? Человек смертен! Крепитесь, Гульсум-хон... Как только успокоитесь, приходите, поговорим о школе...

Гульсум будто только и ждала этих слов. Она торопливо вытерла глаза, осторожно, точно боясь взрыва, взяла бумажку и, не взглянув на Чавандаза, вышла.

Гульсум не знала, куда идти. Бумажка жгла ей руку, и не было сил заставить себя прочесть ее. Если навстречу кто-нибудь шел, Гульсум поспешно сворачивала в проулок, шла садами, через проломы в дувалах. Сад, в который она вошла, был очень знаком. Гульсум остановилась и стояла, пока не сообразила, что это сад матери. Она даже услышала голос Махиры-буви, зовущий Фатиму и Зухру. Гульсум побежала на улицу, чтобы не встречаться с матерью: она не в силах была сказать ей, что две эти крошки — сироты, и сама не в силах была видеть сейчас внучек. В полдень Гульсум забрела на полевой стан. К счастью, люди еще не подошли на обед и на стане была одна Серафима Федоровна.

— Что с вами, Гульсум-апа? — спросила она.

Гульсум молча передала ей бумажку, бессильно прильнула к стволу ивы и закрыла глаза. Она не помнила, сколько простояла так. Когда она открыла глаза, Серафима Федоровна сидела, опустив руки на колени, и смотрела куда-то перед собой.

— Что делать, ападжан? — спросила Гульсум.— Как сказать об этом дочери?

— Зачем говорить? Ничего не надо говорить!

— Вы думаете, будет лучше?

— Да, будет лучше! Может быть, что-то напутали. Может, он не убит... Чего не бывает на фронте! Просто не найдут человека и рассылают такое. А он ранец, и его подобрал санитары из другой части...

Странно, Гульсум-апа готова была поверить, что так могло быть и что действительно необходимо скрыть извещение от дочери.

— Правда, правда! Я тоже слышала... Так бывает,— сказала она.— Только как быть с Чавандазом? Он может кому-нибудь сказать или уже сказал...

— Идите предупредите его! А если кому-то сказал, то предупредите и того...

— Правда, правда, так и сделаю.— Гульсум поправила на голове платок.— Я сейчас... Я быстро... Если надо будет, обегу всех! Спасибо вам, надоумили.— Она торопливо побежала в кишлак.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Акмаль вытер потный лоб и оглянулся.

Солнце садилось. Тень от холма Караул-тепа накрыла степь. Только шалаши на стане и несжатое еще пшеничное поле поблескивали в закатных лучах.

Кучкар куда-то исчез, а Машраб все еще жал совсем близко от Акмаля. Машраб хотел помочь девушкам и захватил себе большой участок — среди несжатой полосы пшеницы виднелась его согнутая спина. Было похоже, что до вечера Машраб решил сжать всю полосу. «Раз решил, значит, сделает»,— подумал Акмаль. Он вспомнил, как Машраб таскал мешки, и улыбнулся, сдувая с губы пот. Акмаль захватил пучок стеблей и подрезал их ораком — изогнутым ножом, похожим на серп. Он захватывал стебли и подрезал их, не глядя и не разгибая спины. Лишь изредка, вот как теперь, кончая полосу, Акмаль позволял себе распрямиться и посмотреть вокруг, подставляя голую потную грудь предвечернему ветерку. И так вот уже несколько дней, с тех пор как Камил-ака поставил мальчишек на жатву.

Хлеб вырос высокий и густой, как никогда. Чем больше жнешь, тем больше хочется жать, вдыхая запах налитых и прогретых солнцем колосьев. Иногда нога спотыкается об огромный арбуз или орак прикоснется к дыне кукча, и они трескаются от спелости. В таких случаях счастливец кричит о паходке, и жнецы сбегаются со всех сторон и, захлебываясь соком, едят рассеченные серпом ломти арбузов и дынь, и крик при этом стоит такой, что можно оглохнуть.

Жали с утра до вечера. Курбан-ата привозил обед на своем ишаке прямо в поле и оделял жнецов из ведер холодной похлебкой из очищенной джугары, заправлен-

ной айраном. Курбан-ата подъезжал к каждому жнецу, наливал ему касу похлебки и терпеливо ждал, пока тот поест. А вечером, после сухого горячего зноя, легкая прохлада, прилетающая с гор, была как награда за труд. Шли с поля на стан, и вдруг девушки начинали петь, и в сумерках они казались такими красивыми, что от радости сжималось сердце... Хорошо было Кучкару. Он не терялся, подхватывал песню даже тогда, когда не знал слов, или обнимал сразу двух-трех девушек, и тогда на всю степь поднимался крик и хохот. Кучкар словно и не махал целый день серпом. На помощь подругам прибегали другие девушки, и кончалось тем, что Кучкар спасался бегством. Машраб тоже не скучал. Он читал вечерами стихи — свои и чужие, и уставшие от работы жницы приходили послушать.

Акмаль стеснялся девушек и обливался потом, когда они с ним заговаривали. По ночам ему снилась Гульчехра, и он даже во сне начинал громко сопеть. Во всем кишлаке одна Гульчехра не смеялась над ним — так, по крайней мере, думал Акмаль. Он мог точно назвать день и час, когда полюбил Гульчехру, и надеялся, что и она его полюбила.

Их странная, с точки зрения других, любовь началась прошлым летом, когда они везли урюк на базар. На окраине города упал ишак Гульчехры. Поднять его ничего не стоило Акмалю. Он подошел и рванул ишака за хвост, пнув его при этом под бок ногой. Ишак вскочил, но Акмаль не мог ступить на ногу — вывихнул палец. Весь день Гульчехра суетилась вокруг Акмаля, а вечером, когда возвращались с базара, купила яицек. Они остановились за городом, она положила его ногу к себе на колени и принялась массировать больной палец яичным желтком. Сердце Акмаля растаяло от такого внимания. Машраб называл Гульчехру легкомысленной, Кучкар отзывался о девушке более определенно, конечно, когда его Акмаль не слышал. Они могли говорить о Гульчехре что угодно. Один Акмаль знал истинную цену верности и преданности ее благородного сердца — так, по крайней мере, он сам думал. Провожая его в степь, Гульчехра сунула ему за пазуху две загары — лепешки из кукурузной муки, завернутые в платочек. Не каждая девушка сделает такое. Лепешки Акмаль давно съел, а платочек до сих пор лежал под халатом на сердце,

Акмаль захватывал рукой стебли пшеницы и подрывал их серпом. Его движения были ритмичны, как у машины. Широкий взмах руки, блеск серпа, сухой треск — и колосья покорно ложились на сухую, пахнущую пылью и печеным хлебом землю. Акмаль, не разгибаясь, шел и шел вперед, оставляя за собой ровно подстриженное жнивье.

— Э, харманглар, джигиты!

Акмаль выпрямился. В пяти-шести шагах на жнивье стояли Эртаев и Камил, за ними Курбан-ата и Кучкар. Кучкар явно дурачился, передразнивая старика и копируя все его движения. По другую сторону несжатой полосы стоял Машраб, и серп в его руке свисал чуть не до самой земли; опустив голову, он не смотрел на Эртаева, как будто в чем-то провинился.

— Молодцы, джигиты,— говорил Эртаев.— Слух о вас идет по всему району.

— Правильный слух,— сказал Курбан-ата.— Когда Чапаев громил на Урале белоказаков, я гоноял по горам Энвер-пашу. Когда Красная Армия громит под Курском фашистов, наши дети проявляют трудовой героизм.

Эртаев терпеливо ждал, пока старик коптит говорить. Курбан-ата снял фуражку и вытер голую, без единого волоска, голову.

— Чапаевское племя,— сказал он и надел фуражку.

— Молодцы, джигиты,— повторил Эртаев.— Да и старшие товарищи не подвели... Я очень рад, Камилджан, что райком партии в вас не ошибся!

— Если кто-то из руководителей заслуживает благодарности, так это Инобат. Без ее энергии не было бы этих тысяч пудов дополнительного хлеба...

— Скромность украшает большевика,— сказал Эртаев и засмеялся.— А вам, ребята, спасибо от имени доблестных бойцов, громящих врага в эти дни под Белгородом и Курском.— Эртаев обошел ребят, пожимая руку каждому в отдельности. На Машраба он взглянул искоса и тут же отвернулся, а возле Акмаля задержался.

— Как отец? Пишет?

— Письма иногда приходят...

— Говорят, ты остался один кормилец? Я этого раньше не знал. Можно было бы не призывать твоего отца в трудовой батальон. Почему он сам о себе не похлопотал? Как мать, братишки? Все ли здоровы?

— Спасибо, здоровы.

— Простой, хороший человек Эшмат-ака, бесхитростная душа. Я думаю, надо помочь семье. Что скажете, отец?

Курбан-ата не ожидал такого вопроса. Он снова спял фуражку, сказал:

— Когда Чапаев громил на Урале белоказаков, а я гонял по горам басмачей, Эшмат был отважным краснопалочником...<sup>1</sup>

— Я думаю, колхоз сможет дать семье Эшмата полтора-два пуда зерна,— быстро сказал Камил.

— Так будет правильно,— подтвердил Курбан-ата и надел фуражку.

Эртаев пошел к стану. Курбан-ата и Камил, чуть отстав, шли за ним, и жнивье потрескивало под их ногами, а из-под сапог поднималась пыль.

Кучкар сказал:

— Неужели у него совесть заговорила?

Никто не спросил, у кого это «у него». И Машраб и Акмаль понимали, что речь идет об Эртаеве.

— Зачем плохо думать о человеке, если даже он тебя один раз обидел? — сказал Акмаль.

— Продажная душа. Вернее, брюхо,— сказал Кучкар.

Машрабу была неприятна похвала Эртаева, лучше бы он его обругал, а так в душе появилась какая-то признательность к этому человеку. Но Машрабу не хотелось ему верить, и он терялся в догадках: зачем понадобилось Эртаеву приезжать в степь и хвалить их?

Акмаль вернулся к своей полосе. Он жал и про себя подсчитывал: за время работы в степи, экономя в еде, он уже собрал полмешка лепешек. Если прибавить к ним еще полтора пуда зерна, то можно будет что-то выгадать на подарок Гульчехре. Акмаль широко захватывал стебли пшеницы и громко сопел.

Машраб и Кучкар тоже вернулись на свои полосы. Они думали, что до темноты сумеют их дожать. Но дожать не пришлось.

Кто-то закричал возле стана:

— Девушки, Барно приехала!

У Машраба остановилось сердце: понятно, почему в степь приехал Эртаев. Из-за соседнего стога выбежала гурьба девушек, окружила Машраба.

---

<sup>1</sup> Краснопалочники — отряды самообороны, которые действовали в Средней Азии во время борьбы с басмачеством.

— Голубчик, Машрабджан! Пусть встретится тебе красавица прекрасней месяца, приятнее прохладного ручейка...

— Хватит на сегодня работать!

Машраб, захваченный врасплох, оглянулся на Кучкара, но тот, уперев руки в бока, орал:

— Эй, поэт! Раз ты Машраб Дивана — читай стихи!..

Девушки стали дружно подсаживать Машраба на прошлогоднюю скирду. Чтобы избавиться от них, Машраб, цепляясь руками, проворно полез на вершину. По ту сторону скирды стояла бричка, и в ней на поперечных досках сидели Муяссар, Барно, Лариса и Гульчехра. Они раздавали персики окружившим бричку женщинам. Муяссар увидела Машраба и радостно замахала рукой. Машраб засмеялся, сам того не замечая, и тут же в голову ему пришло стихотворение. Он стоял на скирде, по пояс в соломе, рот до ушей, белые зубы поблескивали, а с губ срывались знакомые слова поэта Уйгуна из стихотворения о думах бойцов, которые сражались на фронте:

Смотри, не теряй своей веры  
и чести не ввергни в беду.  
Хоть ложные чувства мгновенны,  
измена весь век на виду.  
Не спутай любовь с увлеченьем,  
не спутай, не сбейся с пути:  
где ищут одно наслажденье,  
рискуют лишь горечь найти.

Барно уже давно сошла с брички и стояла, прислонясь к подножию скирды, снизу вверх пристально глядя на Машраба. Стихотворение было очень длинное, все в одном духе: поэт обличал неверность и восхвалял красоту подлиной любви и преданности. Машраб читал с уношением, не спуская глаз с Барно.

На бричку уже влез Кучкар, говорил Акмалю:

— Что стоишь, словно я съел, а тебе не досталось. Лезь!

Машрабу долго и дружно аплодировали. Кучкар, стоя в бричке, махал ему рукой. Машраб съехал по крутому склону скирды. Он хотел побежать к бричке, чувствуя, что Барно стоит рядом и смотрит на него.

— Чего ты от меня хочешь? — тихо спросила она.

В это время бричка тронулась. Машраб оглянулся: бричка покатила по жнивью, поднимая пыль.

— Столько девушек слушали это стихотворение, и никто не обиделся. Почему бы? — спросил Машраб.

— Мне нет до других никакого дела... В тот раз ты задел меня так, а сегодня этак... Кто тебе дал право вмешиваться в мою жизнь?

— Я думаю о своем брате...

— Хорош у тебя брат, если приставил ко мне шпиона...

Машраб задохнулся от возмущения, но ничего не успел ответить. Барно резко повернулась и пошла к стану, на котором уже зажглись огоньки.

— Машраб!

К нему бежала Муяссар. Над степью стояли рассеянные сумерки, но в небе уже мерцали первые звезды. Казалось, кто-то чистил и ставил их в вышине по одной. Машраб пошел навстречу Муяссар, и они повернули к стану.

— Я думал, ты уехала, — сказал Машраб.

— Что ты! Я от них убежала. Спрыгнула с брички и убежала.

Машраб косился на смуглое, почти коричневое в сумерках лицо Муяссар, и она, точно чувствуя его взгляд, смотрела прямо перед собой. Так они и шли по степи.

Все, что делалось в кишлаке, казалось Муяссар ничтожным по сравнению с тем, что совершалось на фронте. Но эта широкая степь, шалаши из камыша, хирмапы, на которых молотили хлеб, крики мальчишек-погонщиков, скрип арб, запряженных волами, вереница шагающих ишаков с мешками зерна, грустные песни девушек — все это было так величественно, что у Муяссар дух захватило.

— О вас говорят, как о героях, — сказала она.

— О вас тоже ходят слухи. Почему вы приехали и по какому случаю так разоделись?

— Были в городе, в госпитале. Возили раненым дыни... Правда, не хандаляшки... А почему ты тогда полез на бахчу?

Машраб остановился.

— Ты не знаешь? — спросил он.

Муяссар смотрела на него, и в темноте глаза ее казались огромными.

— Ты же хотела хандаляшек. В то утро я шел мимо твоего сада и сам слышал...

— Не падо... Не говори! — сказала Муяссар.

Машраб обнял ее и притянул к себе, сам дивясь своей смелости.

Где-то очень близко за темнеющей справа скирдой слышался голос Кучкара:

— Ну как, поговорил с Гульчехрой?

— Поговоришь, когда вокруг нее вертится твой брат Ядгарбек!

— Э-э, тряпка... Пойдем!

Машраб выпустил Муяссар, и она побежала к стану.

Из степи свозили и домолачивали на хирманах последние снопы. Каждый день на рассвете со стана уходили в город караваны ишаков. Спать ложились пораньше, едва зажигались звезды. Только теперь, когда вся тяжелая работа была сделана, сказывалась многодневная усталость. Обычно перед сном, где-нибудь в укромном уголке, Кучкар перечитывал какое-то письмо. Это письмо он уже знал наизусть. Оно было написано простым карандашом на листке бумаги, вырванном из полевой книжки.

«Дорогой мой Кучкар!

Получил твое письмо. Этот день для меня стал праздником. Спасибо, сынок.

На днях уезжаю надолго по одному делу. Когда вернусь, трудно сказать.

Дорогой сынок! Я должен был просить у тебя прощения. Но не сделал этого потому, что признавать свою вину или, наоборот, перекладывать вину на другого — ни к чему. Думаю, сам все поймешь... Фатима по молодости оступилась. А я — я очень любил ее. В общем, случилось то, что случилось.

В письме ты пишешь: «Я горжусь вами, папа!» Не знаю, достоин ли отец, который, рассердившись на женщину, забыл о сыне, того, чтобы сын им гордился? Решай сам, сынок. Если останусь жив, мы с тобой заживем по-иному. Единственное мое желание — чтобы ты жил во имя нашего многострадального народа, ради его счастья. Лучшие сыны человечества жили ради этой цели, за это они сейчас кладут свои головы.

До свидания, будь здоров, сынок.

С надеждой на встречу, твой отец *Клыч*.

10 августа, полевая почта 92625 Р».



За ужином, как обычно, Машраб прочел сводку Информбюро.

— Каждый мешок зерна — это гвоздь в гроб фашистов, — сказал он.

Машраб уже привык чувствовать себя комиссаром. Он давно перестал бояться, что Кучкар подымет его на смех. Машраб только не знал, почему так переменился Кучкар.

Кучкар сосредоточенно доедал гуджу, старательно вытирая степки касы куском лепешки. Кто-то прокричал в темноте:

— Машраб, Кучкар, Акмаль — к Камилу-ака, быстро!

В знакомом шалаше, который все на стане называли «штабом», Камил разговаривал с Информбюро.

— Э, наконец-то, — сказал Камил-ака, потирая раненую руку. — Что скажете, джигиты, если я пошлю вас в разведку? — спросил он, когда ребята присели на соломенные циновки.

— Если вы нас пошлете, как же мы сможем не пойти, Камил-ака? — ответил Машраб.

Кучкар подозрительно уставился на Информбюро, спросил:

— Что за разведка?

— В караване ишаков — хищения. Каждый день исчезает мешок зерна.

— Каждый день мешок зерна? Не может быть, — сказал Машраб, чувствуя в словах Камилла упрек себе.

— Кто этим занимается? — настороженно спросил Кучкар.

— Кто же еще? Наш старший Ядгарбек и Эшмат-экспедитор. Они сбили с пути Дадабая-простака. — Информбюро даже вскочил — так он был возбужден.

— Почему сразу нам не сказал? — грозно спросил Кучкар.

— Боялся. Они мне сказали: «Знай свое дело, а в чужие не лезь».

— Подлецы! — выкрикнул Машраб.

— Эх, если бы не мать, я бы знал, что делать, — произнес Кучкар.

— А теперь не знаешь, — удивился Камил. — Впрочем, может быть, ты прав и лучше тебе не вмешиваться в это дело, — задумчиво проговорил он.

— Как это не надо?.. Да разве они справятся без меня?! — закричал Кучкар. — Если я не пойду, то каки-

ми глазами посмотрю на своего тезку, первого Героя Советского Союза Кучкара Турдыева?!

— Резонно, ничего не скажешь. Придется идти,— с улыбкой согласился Камил.

В путь отправились прямо от Камила, чтобы задолго до каравана прийти на место. Когда показались расплывчатые очертания городских садов, небо еще было усыпано звездами и степь дышала предутренней прохладой. Ишаков оставили в урочище на краю города и дальше отправились пешком.

Дом, в котором прятали хлеб, должен был показать Информбюро.

— Это в третьем дворе первого переулка,— говорил он.— Перед двором протекает арык, а на берегу арыка растет большая чинара...

— Не найдешь — голову оторву,— коротко сказал Кучкар, выслушав объяснения мальчишки.

Арык вытекал из-под дувала, и в том месте, покрывая своей тенью двор и улицу, раскинула ветви чинара.

Само собой разумеется, что всем в этой операции распорядился Кучкар. Он пролез по арыку в пролом под дувалом и минут через десять вернулся.

— Смотрите,— сказал он и стал чертить в пыли план двора.— Половина двора занята двумя стогами люцерны — вот здесь. Перед террасой на берегу арыка — пашахана. Там кто-то спит — храпит на весь двор. Действуем так: я спрячусь в стоге возле полога. Кто-то, Машраб или ты, Акмаль, залезет на чинару, а кто-то пойдет со мной. Информбюро будет дежурить в конце переулка и предупредит, как только появятся воров...

— Давайте я залезу на чинару,— сказал Машраб.

— Хоп! Залезай. Когда Информбюро заметит воров, два раза сними и надень тубетейку.

Хлюпая по воде, Кучкар полез под дувал. Акмаль чуть не застрял в проломе. Машрабу пришлось его проталкивать. При этом обвалилась глыба глины.

Машраб влез на чинару и сел в развилке между ветвей над самым двором. Взошло солнце, отражаясь в воде арыка малиновыми бликами. Слышно было, как под навесом корова жевала жвачку и вздыхала. Из-под полога доносился храп. Потом полог приподнялся, и из-под него на четвереньках выползла полуобнаженная женщина. Она тут же накинула на себя атласное платье, сунула ноги в лакированные кавуши и стала умываться. Умы-

пнсь, она подошла корову, зажав ведро между коленями. Потом поставила самовар, навела красоту, стоя у зеркала на айване, а под пологом кто-то все еще продолжал храпеть. Женщина спустилась с айвана и откинула полог. На ворохе одеял лежал на спине мужчина.

— Вставай, мой толстячок,— сказала женщина.

Мужчина ловко повернулся на бок и обхватил женщину за ноги.

— Иди на минутку ко мне, душенька,— сказал он.

Женщина села и, освободив ноги, проворно отодвинулась в сторону.

— Хватит, дорогой,— сказала она.— Пора вставать, скоро караван придет.

Толстяк встал, натянул штаны на короткие, очень толстые ноги. Машраб узнал Эшмата-экспедитора. Пока все, что говорил Информбюро, подтверждалось. Единственное, что смущало Машраба,— это дом. Машраб знал, что Эшмат жил совсем на другой улице, у своих дальних родственников, а семья его жила в кишлаке. Но раздумывать над этим было некогда: по дороге к городу катились клубы пыли, поднятой ишаками.

Караван ишаков приближался к садам. В переднем всаднике Машраб узнал Ядгарбека — он один ехал на коне. Когда караван втянулся в городскую улицу, Ядгарбек поскакал вперед, поднимая пыль. Караван пришел неожиданно рано — Эшмат его не ждал. Когда Ядгарбек остановил копя под чинарой и постучал в калитку, Эшмат не сразу ему открыл, стоя посредине двора и прислушиваясь.

— Что случилось? Почему у тебя глаза беспокойные? — спросил он, приоткрыв калитку.

— Все хорошо, ака. Партком отправил нас пораньше, будем сегодня делать две ходки.

— Хоп! Две ходки — два мешка. Хорошую свадьбу тебе справим.

Ядгарбек, не дожидаясь каравана, поехал вперед. Пыль, поднятая ишаками, докатилась до чинары и наполнила всю улицу. Когда пыль рассеялась, улица оказалась пустой, только у калитки стоял ишак и мальчишка-погонщик осторожно отодвигал засов, поминутно оглядываясь по сторонам.

Все остальное произошло так быстро, что Машраб не успел опомниться.

Как только ишак вошел во двор, Эшмат рывком сдернул четырехпудовый мешок зерна и побежал с мешком

на плече, широко расставляя короткие ноги. Женщина торопливо разрывала стог клевера. В это время с другой стороны стога вышли Кучкар и Акмаль. Эшмат, сразу обессилов, сел, опираясь спиной о мешок, а женщина закричала и побежала в дом. Мальчишка-погонщик пулей вылетел на улицу и, не оглядываясь, промчался под чинарой.

Пока собрали соседей и составили акт, Информбюро пригнал из урочища ишаков. В хлеву нашли яму, полную зерна. Сколько его было, никто не мерил, просто насыпали зерно в мешки, погрузили на ишаков и повезли в Заготзерно. В милицию не сообщили, а связали Эшмату руки и погнали в Катра-абад. Машраб удивлялся, что Эшмат, не сопротивляясь, делал все, что ему приказывали. Эшмат очень хорошо видел неопытность ребят и, после того как были сданы на элеватор вещественные доказательства — мешки с зерном, совсем успокоился.

В Катра-абад пришли в полдень. Камил был в степи, и мальчишки, оставив Эшмата-экспедитора в штабе, сели под стогом завтракать. Весть о том, что Машраб Дивана и его компания привезли связанного Эшмата, облетела стан. В штабной шалааш заглядывали любопытные, и Эшмат начинал поносить мальчишек, грозить им.

Пришла Мастура с аптечной сумкой на плече.

— Что тут случилось? — спросила она.

— Ничего особенного. Жуликов поймали. Ты откуда идешь? — спросил Машраб.

— Из третьей бригады. Женщина серпом порезала руку. Ночью видела сон, — сказала Мастура. Помолчала, поглядывая на брата. — Приснилось мне, что Расулджан вернулся без ноги и очень рассердился, что меня нет дома. — Несмело спросила: — Может, от него пришло письмо?..

Она умолкла, потому что прибежал Кучкар, ходивший за добавочной порцией гуджи.

— Пошли, Дивана, идут! — сказал он.

Еще издали возле хирмана Машраб увидел Камилу, Курбана-ата и Чавандаза. Чавандаз сидел на знаменитом сельсоветовском жеребце вороной масти и, слегка наклонившись с седла, что-то говорил «Чапаю».

Машраб сразу понял, как только взглянул в лицо Камилу: что-то случилось...

— Почему не оставили Эшмата в милиции? — спросил Камил.

— При чем тут милиция? — ответил Кучкар.

Камил быстро взглянул на Чавандаза, но тот сделал вид, будто занят разговором.

— Где акт о задержании? — спросил Камил.

Он долго просматривал самодеятельный акт, потом сказал:

— Второго вора тоже задержали?

— Другого отпустили в Заготзерно. Но мы его видели, — сказал Машраб.

Чавандаз больше не притворялся, что занят разговором. Когда Машраб сказал:

— Второй вор Ядгарбек! — Чавандаз крикнул:

— Что ты сказал? Повтори!

— Ваш сын Ядгарбек был задержан при хищении пшеницы...

— Задержан?! Кто его задержал? Где он? Ты, сын Агзама, обвиняешь моего сына?!

На голову жеребца обрушились удары рукояткой камчи. Жеребец подскочил и встал на дыбы.

— Стой!

Машраб не понял, кто это крикнул — Кучкар или Камил. Но он увидел, как за узду взвившегося на дыбы жеребца ухватился здоровой рукой Камил. Жеребец от нового удара рванулся, и Камил упал, а на узде повис Кучкар.

— Стойте, отец! Если будете бить, бейте меня!

— Прочь, байстрюк! Я проклял тебя...

Удар камчи упал на спину Кучкара, и рубашка на его плечах с треском лопнула. Удары градом обрушились на жеребца. Тот прыгнул в сторону, оставив в руке Кучкара обрывок повода. Но Халмата не зря прозвали Чавандазом. Он сумел овладеть жеребцом с порванной уздечкой и, обогнув шалаш, примчался обратно. Упершись ногами в стремена, заиграл в воздухе плетью.

— Меченое племя! Знайте: неделю назад пришла похоронная на Расулджана!

— Молчать!

Машраб оглянулся. Курбан-ата, в своей огромной фуражке, нелепо выглядевшей на маленькой голове, весь дрожа, шел прямо на жеребца. Машраб бросился к лошади наперерез старику, но тут же остановился от отчаянного крика у себя за спиной:

— Машраб! Машраб!.. Родной!

Мастура, с закрытыми глазами, с белым, будто изваянным из гипса лицом, лежала у очага на руках поварихи.

Машраб подбежал к ней, мгновенно забыв о Чавандазе.  
— Мастура-апа!

Он тряс ее за плечи. Кто-то закричал:

— Воды! Дайте воды!..

Машрабу показалось, что всю степь вмиг охватило огнем.

— Воды! Воды! — кричал он.

Народу собралось много. Всех вызванных на бюро невозможно было разместить в кабинете секретаря, и заседание бюро райкома проводили в летнем клубе. На повестке был один вопрос: дополнительные обязательства по государственным поставкам зерна. Такие дополнительные обязательства колхозы района брали на себя трижды.

До начала бюро между первым секретарем райкома и Эртаевым состоялся разговор.

— Товарищ Эртаев, я тут советовался с товарищами, решили поручить вам выступить инициаторами нового обязательства. Колхозы вашего куста самые крепкие, да и народ у вас активный. Можно надеяться?

— Что значит можно? Раз надо — сделаем! — сказал Эртаев.

— Хоп! Очевь хорошо. Я вам дам первому слово. — Секретарь был явно доволен ответом Эртаева. Он вообще был доволен этим исполнительным, безотказным работником. Правда, до райкома доходили разные слухи, но о ком из ответственных работников теперь не говорят? Не время сейчас заниматься проверками, сейчас главное — победа над врагом.

Эртаев собрал председателей колхозов и партторгов в кабинете заведующего клубом.

Он сделал краткую информацию, во время которой Камил сосредоточенно думал: кому доложить о факте хищения зерна? Первому секретарю или Эртаеву? Неудобно было обходить уполномоченного района, а с другой стороны, Камил испытывал к Эртаеву все большее недоверие. Занятый этими мыслями, Камил не сразу понял, куда клонит Эртаев, а когда понял, спросил:

— А как будет с семенами, если мы отдадим сейчас последнее зерно?

Камил посмотрел на Инобат. Она поблагодарила его глазами за этот вопрос. Эртаев слушал, недовольно морщась.

— Нелепый вопрос, — сказал он. — Мы кому сдаем зерно? Государству. Так неужели государство не позаботится о семенах? Мне неловко за вас, Камилджан.

На этом узкое совещание закончилось, и все перешли в зал, где заседало бюро. Первый секретарь объявил повестку дня и тут же предоставил слово Эртаеву.

Эртаев говорил долго и горячо. Он скавал, что Узбекистан не испытывает непосредственных ударов войны, находясь в глубоком тылу, и что поэтому долг тружеников Узбекистана отдать все для победы над врагом. После этого Эртаев назвал цифру, которую колхозы вверенного ему куста (он так и сказал: «вверенного мне куста») сдадут государству. Едва он кончил, как кто-то задал ему вопрос, откуда в его колхозах столько зерна и не берет ли он дополнительное обязательство за счет семенного фонда.

В зале наступила гнетущая тишина. Эртаев с улыбкой оглянулся на секретаря райкома, спросил:

— Можно ответить товарищу?

Но секретарь райкома встал, сказал:

— Товарищи поднимают очень серьезный вопрос, заботясь о семенном фонде. Мы об этом тоже думали. У нас много загорных колхозов, которые из-за расстояния и трудных горных дорог не сумели вывезти зерно. Это зерно мы оставляем у них как семенной фонд района, а пока взаимобразно возьмем с вашего согласия зерно в ближних колхозах. Те, кто сейчас сдаст дополнительное зерно, получат семена из казахских колхозов.

Камил смотрел на усталое, с мешками под глазами; лицо секретаря райкома и решил, что не имеет права взваливать на плечи Умарова свои заботы. Тем более что Камил уже был в милиции и в прокуратуре и там обещали заняться хищением, хestia и сказали, что мальчишки много напортили своей горячностью и неопытностью. Камил думал, что он и сам не очень-то опытен. Да и где ему, как и мальчишкам, было набираться опыта в борьбе с жуликами?

Мимо Камила, пробираясь к выходу, прошел Эртаев, и Камил решил, что поговорит о хищении с ним. К Эртаеву можно относиться как угодно, но не было никаких оснований сомневаться в его честности.

Эртаева ждала в приемной райкома Барно. Он не хотел приводить молодую женщину в райком, но дом, который указал ему Эшмат, почему-то был на замке. Эртаев пробирался к выходу и думал, какую взбучку он задаст Эшма-

ту-экспедитору. «Если Камил и Инобат поедут в кишлак, можно будет остаться в городе; если же останутся в городе, можно будет сказать, что мне и Барно нужно в кишлак», — думал Эртаев.

Все оказалось проще. Второй секретарь задержал парт-оргов, и, когда Эртаев подошел к райкому, он увидел только Барно и Инобат. Барно сидела в фаэтоне, а Инобат отвязывала своего коня. Эртаев сделал вид, что не замечает хмурого лица Барно.

— Надеюсь, вы нас извините, Барнохон, за то, что заставили вас ждать? Это не по нашей вине... Что будем делать дальше, Инобатхон?

Инобат пожала плечами:

— Не знаю. Я приглашаю Барнохон к моей сестре. Три месяца не видела сестру. Останусь у нее до утра.

— Спасибо, апа. Я поеду в кишлак! — сказала Барно.

— На чем же ты поедешь? Товарищ Эртаев, наверно, тоже заночует дома, в семье...

— Товарищ Эртаев поедет в кишлак, Инобатхон. Есть срочные дела.— Эртаев отвязал от коновязи лошадь, сел в фаэтон и разобрал вожжи.— До завтра, Инобатхон,— сказал он и тронул лошадь.

Эртаев по непроницаемому лицу Инобат не мог понять, догадывается она о чем-то или предложила Барно переночевать в городе просто так, как невестке своей подруги. Но, в общем, это не имело большого значения: главное — держаться уверенно и спокойно. Инобат ехала рысью рядом с фаэтоном до улицы, которая вела к Заготзерну.

— До завтра,— сказала она и повернула коня.

— Кажется, вы обиделись, Барнохон? — вкрадчиво и чуть-чуть насмешливо спросил Эртаев. Он по опыту знал, что такой тон неотразимо действует на женщин.

Барно сидела отчужденно и гордо, укутав плечи в белый шелковый платок, переброшенный концом через плечо на грудь. Она угрюмо вглядывалась в густеющие сумерки улицы.

— Нет, я просто в восторге от вашего внимания,— сказала она, не меняя позы.

Эртаев подавил улыбку. Он привык к покорности женщин. Но Барно правилась ему именно тем, что знала себе цену. Победа над такой женщиной льстила самолюбию. «Ничего, теленок бежит только до кормушки», — подумал Эртаев и остановил лошадь у калитки под развесистой чинарой.



— В чем дело? — спросила Барно, когда Эртаев слез с фэтона и постучал в калитку. — Мы, кажется, едем в кишлак.

— Может быть, посидим, поговорим перед дальней дорогой?

— Зачем? Пока не поздно, поезжайте к своей семье. Узнает обо всем ваша жена — не оберетесь беды.

Эртаев рассмеялся весело и откровенно. Барно ему очень нравилась в своей запальчивой ревности. Интересно, как она поведет себя, когда проснется утром рядом с ним?

— Послушайте, Барнохон! Как только мы переступаем порог этого дома, у меня нет никакой жены. Есть только вы и ваша красота.

«Пошло, грязно», — подумала Барно, но не могла остановиться и вошла вслед за Эртаевым в открывающуюся калитку.

— Эркин-ака, это вы? — говорила идущая впереди женщина. — Аллах мой, совсем вас не узнала.

Вошли на террасу, и женщина зажгла свет. Барно передернуло, когда она разглядела при свете молодящуюся полную женщину с подведенными сурьмой ресницами и широко накрашенными на выпуклом лбу бровями.

— Где Эшмат? Пусть примет лошадь, — сказал Эртаев. Женщина потянулась к нему и что-то сказала.

— Новости! — сказал Эртаев и вернулся к калитке. Женщина взглянула на Барно.

— Добро пожаловать, дорогая гостья. Пусть ничто в этом доме не бросит тень на вашу красоту, — льстиво сказала она, но ее зоркий, оценивающий взгляд не соответствовал слащаво-фальшивому голосу.

Эртаев поставил под навес лошадь, распряг ее и бросил в кормушку охапку сухого клевера. Он не торопился, ожидая, пока опытная хозяйка обхаживала Барно, уведя ее с террасы в гостиную. Эртаев присел на подножку фэтона, закурил. Дождался, когда хозяйка вышла из гостиной, и нарочно громко, чтобы слышала Барно, спросил:

— Ну, невестушка, чем помочь вам? Давайте-ка ведро, принесу вам воды из колодца, пока вернется хозяин.

Женщина, шаркая кавушами, вплотную подошла к нему.

— Говорите скорее, что случилось с Эшматом? — спросил Эртаев, опуская в колодец ведро.

— Плохи его дела, Эркин-ака... Попался Эшмат!

— Об этом и спрашиваю. Что значит попался?

Эртаев неторопливо вытаскивал из колодца ведро, пока женщина рассказывала все, что произошло в этом доме утром. Эртаев слушал и припоминал, не осталось ли каких-либо следов, которые могли бросить тень на него. Как будто не осталось. Разве что сам Эшмат расскажет, кому и когда возил колхозные продукты. Но, судя по тому, что говорила женщина, мальчишки действовали не лучшим образом. Ничего не поделаешь, надо будет просто отправить Эшмата на фронт. Эртаев глянул в сторону дома. Барно, сложив ладони козырьком, сквозь оконное стекло смотрела во двор, и тень ее падала на террасу.

— Ладно,— сказал Эртаев.— Что-нибудь придумаем. Полейте-ка мне на голову...

Он вошел в гостиную с расстегнутым воротом рубашки, с мокрыми волосами, вытирая полотенцем крепкую шею и грудь. Барно перед зеркалом переплетала косу.

— Барно! Барнохон! — позвал Эртаев.

Барно не оглянувшись, отчужденно спросила:

— Где вы были, товарищ Эртаев?

Эртаев смотрел на нее и думал, что сейчас самый удобный повод обидеться,— вряд ли стоило оставаться в доме, с которым так тесно был связан Эшмат.

— Готовил для вас чай, Барнохон,— сказал он.

— А я просила у вас чаю? — Барно, слегка повернув голову, взглянула на него, усмехнулась.— Спасибо за гостеприимство. Поедем.

— Поедем? Куда? — спросил Эртаев и подумал, что если сейчас выпустит ее, то уже никогда не добьется своего.

— Куда же еще? Домой, в кишлак. Вы же сказали Инобат, что у вас в кишлаке срочное дело.

Эртаев стоял и взвешивал все «за» и «против», а тем временем все решилось само собой.

— Никуда мы не поедем. Не можем ехать. Лошадь устала...

— Нет, я уеду...

— Никуда вы одна не уседете. Не на чем вам ехать...

Эртаев увидел в дверях хозяйку с бутылкой вина в руках. Он сделал ей знак уйти и потушил свет. В темноте подошел к Барно, взял ее за руку:

— Неможко отдохнем, душенька!

Барно видела в зеркале, как Эртаев знаком удалил хозяйку, и, когда он потушил свет, у Барно упало сердце.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В Катра-абад Эртаев приехал через два дня. Он подо-звал мальчишку-погонщика и попросил его подержать вороного жеребца с белой отметинкой на лбу. Потом подошел к Камилу, сидевшему со стариками в тени огромного бурта зерна.

— Позовите, Камилджан, ребят, которые задержали мошенника Эшмата. Надо объявить им благодарность от имени райисполкома. Правильно, аксакалы? — спросил Эр-таев стариков.

— Очень правильно, товарищ Эртаев, — ответил за всех подошедший Курбан-ата. Он был строг и серьезен. — За-чем называть Агзама Ячейку врагом народа, товарищ Эр-таев? — спросил Курбан-ата.

— Кто его так называл, ата? — Эртаев насторожился.

— Чавандаз!

— А-а, погорячился раис-ака. Обиделся, что его сына назвали вором.

— А разве он не вор?! — спросил Камил.

— Зачем же сгущать краски, Камилджан? Ошибка мо-лодости. Вы же не назовете ворами тех, кто рвал ханда-ляк на бахче?

Камил промолчал. Послать за мальчишками было не-кого, и он пошел сам, а Эртаев остался со стариками. На другой день после бюро райкома, когда Камил спе-циально поехал в кишлак и рассказал Эртаеву о хищении зерна, Эртаев выслушал его со сдержанной насторожен-ностью и ничего определенного не сказал. «Что же произо-шло теперь? — подумал Камил. — А, что бы ни произо-шло, важно, что Эртаев понял: Эшмат преступник».

Камил увидел Информбюро возле столовой, велел найти и привести на ток Машраба и его приятелей и вер-нулся к Эртаеву.

Эртаев улыбался, идя навстречу Камилу:

— Ну и ну, Камилджан! Дополнительных обяза-тельств еще не выполнили, а колосья собирать колхозни-кам разрешили.

— Если не разрешить, то кому будет от этого польза? Колосья все равно останутся на земле.

— Не будем этого касаться! Сначала надо выполнить обязательства, а потом можно поговорить о колосьях... Как, аксакалы, правильно я говорю?

Старики молчали, а потом под разными предложениями ста-

ли расходиться. С Камиллом и Эртаевым остался только Курбап-ата.

— Что это сидим на солнце? Войдем в шалаш.

В шалаше стоял прохладный полумрак. Эртаев сел на помост, устроенный на деревянных козлах, сказал:

— Мне бы хотелось предупредить вас, Камилджан. В вас много мальчишества: обещали колхозникам колосья, не согласовав с райкомом.

— Я обещал им то, что все равно пропадет.

— Что значит пропадет? Разве у государства излишек хлеба? Весь хлеб принадлежит государству. Правильно, ата?

Курбап-ата пожевал губами, сказал:

— Камилджан поступает правильно. Камилджан был бы хорошим комиссаром даже у Чапаева.

Эртаев смотрел то на старика, то на Камилу. Последнее время у него появилась манера смотреть на людей исподлобья, тяжелым, немигающим взглядом. И этот выживший из ума старик, и этот молодой бессребреник — оба думают только о деле, только о благе людей, и потому они так уверены в себе, потому никого и ничего не боятся. Таким же помнил Эртаев Агзама Ячейку. Чужие, непонятные люди. К ним можно относиться снисходительно, пока они не мешают. Эти начинают мешать. Ничего не поделаешь, придется их усмирить, обвинив в заигрывании с колхозниками за счет государства. Эртаев чувствовал свое превосходство. Смысл жизни в том, чтобы жить приятно. Тот, кому есть что терять, боится терять...

В шалаш, загораживая свет, вошли Кучкар и Акмаль. Складки на лбу Эртаева разгладились.

— Старые знакомые! Ну как, больше не лазили на бахчу? — спросил он.

Он вдруг так расхохотался, что, глядя на него, засмеялись Кучкар и Акмаль. Даже Камил улыбнулся.

Эртаев сквозь смех проговорил:

— Исползуя собственный опыт, накопленный в краже хандаляка, поймали еще одного вора?

— Сравнили, нечего сказать! То были хандаляки, а это пшеница. Белая, сухая пшеница, — сказал Кучкар.

— Конечно, хандаляки растут на бахче, а пшеница в поле. В этом вся разница... В общем, молодцы! Дали по рукам мошеннику. Пусть теперь понюхает пороху, услышит, как свистят на фронте пули.

— При чем тут фронт? — спросил Камил.

— Как при чем? Эшмат подал заявление с просьбой послать его добровольцем на фронт, чтобы кровью испить вину...

— Разве на фронт посылают провинившихся? Разве быть на фронте не самая большая честь? Разве защищать родину должны преступники? — Кучкар смотрел по сторонам, и под его взглядом опустили голову сначала Курбан-ата, потом Камил.

— Объясните мальчику суть вопроса, — сказал Эртаев и вышел.

Но Камил не знал, что сказать. Он чувствовал: что-то нечисто в этой истории, но не мог понять что. Сидел и думал, что он плохой парторг, что для партийной работы ему не хватает ни опыта, ни знаний.

— Чапаев за это расстреливал, — сказал Курбан-ата, посмотрел на них строго, поправил на голове фуражку и вышел.

— Когда я лежал в стое клевера, я слышал, как Эшмат сказал женщине: «Сегодня вечером приедет Эртаев, надо приготовить хороший дастархан», — сказал Акмаль.

— Я тоже это слышал, — сказал Кучкар.

— Почему же не сказали мне? — спросил Камил.

Ребята молчали, потом Кучкар сказал:

— Жалко Машраба. Эртаев должен был приехать в Барно...

Камил поглаживал раненую руку. Значит, слухи, которые поползли по кишлаку, — правда. Ребята из деликатности не хотели говорить о том, что могло огорчить их друга. Должен ли он, Камил, предать гласности то, из-за чего его закадычный друг Ашраф, может быть, не захочет жить? Камил чувствовал, что у него в руках улики, достаточные для того, чтобы покончить с Эртаевым. Но он не знал, как пустить их в ход. Просто обнародовать? Сумел же он повернуть историю с хандаляшками так, что сейчас ничего нельзя предпринять против Ядгарбека. А Эшмат уже, наверно, едет на фронт, да и не захочет он портить отношения со своим покровителем. Остается Барно. Но если Барно что-то себе позволила, не будет же она об этом говорить... Круг замыкался, и Камил не видел из него выхода.

— Идите, джигиты. Обедайте, а я немного посижу, подумаю, — сказал Камил.

После полумрака шалаша день показался особенно ярким.

— Упустили гниду,— сказал Кучкар, со злостью пнул какую-то чурку и тут же схватился за большой палец, запрыгав на одной ноге.

С того дня как Чавандаз сказал о смерти мужа Мастуры, Машраб изменился, стал молчаливым, замкнутым, будто сразу повзрослел на несколько лет.

Вечером на коне Камила Машраб привез Мاستуру в кишлак. Он провел ночь в саду на ворохе клевера. До утра не умолкали плач и причитания собравшихся в махалле женщин. Утром из дома вышла соседка и сказала, что Мاستура зовет Машраба. Когда он вошел в комнату, соседок уже не было. Кроме Мاستуры, лежащей на курпаче, в узенькой и низкой комнатке сидели бабушка, мать и Серафима Федоровна.

— Машрабджан! — сказала Мастура и тронула руку Машраба своей похудевшей за ночь горячей рукой. — Серафима Федоровна, бабушка, мама — все, кто были здесь ночью, говорят, что Расулджан, может быть, жив. Они говорят, что на фронте бывают ошибки... Ты умный, ты много читаешь. Скажи, может такое быть?

— Так бывает очень часто, Мастура. Я могу рассказать тебе десятки случаев, когда было именно так... Я читал об этом и в книгах и газетах.

Все облегченно вздохнули и как-то разом заговорили.

— Мастура, милая моя! Я сама была свидетелем таких случаев. Это вполне может быть! — сказала Серафима Федоровна.

Машраб, не в силах видеть жалкую улыбку сестры, торопливо вышел в сад и долго бродил там один.

Все дни Машраба не покидало ощущение опасности, нависшей над их домом, над семьей, над всем кишлаком. Он все время жил в какой-то настороженной тревоге. Как-то раз, встретив просозжавшего в фаэтоне Эртаева, он вдруг понял, что все время помнил об этом человеке, помнил бессознательно, как о своем личном враге, как о враге всего кишлака, с именем которого связаны все неприятности.

В один из особенно трудных для Машраба дней из кишлака вызвали на сбор колосьев всех трудоспособных. Машраб приехал в степь вместе с Муяссар и Ларисой.

В полдень он и Кучкар вышли к низине, поросшей ка-

мышом. Кучкар сбросил почти полный мешок на скошенный камыш и тут же растянулся рядом.

— Горло пересохло,— сказал он. Достал бутылку и, лежа на спине, ловил ртом струю воды.

— Где Акмаль? — спросил Машраб.

— Ходит и думает: почему Гульчехра не приехала на сбор колосьев? А тех двух не видно.

«Те двое» — Муяссар и Лариса. Они собирали колосья вокруг хирмана в ворохе обмолоченной соломы. Люди разбрелись по всей степи, и девушек не было видно.

Кучкар лег на живот, достал из-за пазухи завязанную в платок черствую лепешку. Он разломил ее на куски и положил поверх платка.

— Закусим,— сказал он.— Моя мама говорит, что красивый мужчина должен много есть.

Не успел Кучкар прожевать кусок, как из камышей выскочил Информбюро. На его худеньком плече болтался почти пустой мешок, лицо и руки были черными, как у негра, а зубы блестели в улыбке.

— Аппетита вам такого, как карнай,— сказал он, имея в виду огромную полутораметровую медную трубу с раструбом на конце, при помощи которой глашатаи собирают народ.

— И без твоего пожелания аппетит у нас больше карная,— сказал Кучкар, но тут же смилостивился: — Хоть мы тебя и не звали, но раз пришел — садись!

— Мы и глотка воды даром не пьем,— сказал Информбюро.— А за свой труд не постесняемся съесть кусок лепешки.

Когда Информбюро собирался сообщить какую-то новость, он всегда отзывался о себе во множественном числе. Схватив лепешку, он начал есть.

— Положи на место и сначала скажи, зачем пришел,— спокойно распорядился Кучкар.

— Может, слышали, а может, нет: птичка-спичка слетается с коршуном.

— Говори толком: какая птичка-спичка? — спросил Кучкар.

— Говорят, Гульчехра выходит замуж за твоего брата Ядгарбека... Что слышал, то говорю,— быстро сказал Информбюро, потому что ему показалось, будто Кучкар намеревался «погладить» его по голове.

— И за такую новость ты хочешь лепешку? — спросил Кучкар.

— А разве было бы лучше, если бы я пришел пригласить вас прямо на свадьбу?

— Иди! Иди! За такую новость не стыдится есть чужой хлеб!

Информбюро засмеялся и пошел, доедая кусок лепешки.

Машраб молчал и смотрел куда-то в степь.

— Я еще в тот раз, когда они приезжали, заметил, что он ее обхаживал, — сказал Кучкар. — Надо что-то сделать. Я бы на месте толстяка только обрадовался, что от такой птички избавился. Но он же с ума сойдет...

— Вон Лариса и Муяссар, — сказал Машраб. — Надо их спросить.

Он пошел наперерез девушкам, а Кучкар перевернулся на живот и стал смотреть, как муравей тащил волосок. Бедный толстяк! Надо же, чтобы именно с ним случилось несчастье.

Вернулся Машраб с Муяссар и Ларисой. Девушки недоумевали и были встревожены.

— Может быть, это неправда? — спрашивала Лариса и смотрела по очереди на всех. Степное солнце обожгло ее: продолговатое лицо, шея, руки стали красновато-коричневыми, и голубые глаза казались особенно чистыми, как весеннее небо. Кучкар старался не смотреть в ее глаза — так было спокойнее.

— Она ведь школу не кончила, — сказала Муяссар, как всегда взволнованно. — Как хотите, а я не верю.

— А жених? Если верить его папе, он еще призывного возраста не достиг. Совсем мальчик!.. Куда ему жениться, — сказал Машраб, насмешливо поглядывая на Кучкара.

— Что ты на меня смотришь? Я ему, что ли, года убавлял? Нет, как хотите, а я боюсь, что новость Информбюро соответствует действительности... Я кое-что припоминаю, чему раньше не придавал значения.

— А что, если ее насильно заставляют выйти замуж? Говорят, у вас и не такое еще случается? — вдруг спросила Лариса и испугалась, что, может быть, обидела своих друзей.

— Бывает, всякое бывает, — сказал Кучкар. — Вы ее подруги и должны с ней поговорить без свидетелей, а потом решим, что делать.

— Надо сказать Акмалю, — сказала Муяссар.

— Зачем? Толку от этого никакого не будет. Не зря



его называют Акмаль-рохля.— Кучкар безнадежно махнул рукой.

— Кучкар сказал правильно: сначала надо поговорить с Гульчехрой. Это вы возьмете на себя. А мы пока подготовим Акмаля, чтобы эта новость не была ему как снег на голову...

Так и порешили, вторую половину дня собирали колосья вчетвером, и Кучкар подумывал, что не так уж было бы ему безразлично, если бы он услышал, что Лариса выходит за кого-то замуж.

После ручной жатвы колосьев оставалось мало. Только там, где росла трава, их было больше. Но, как говорится, капля по капле образует озеро. В первый же день многие собрали по мешку.

К вечеру, когда на степь напоздали сумерки, неожиданно появились Ядгарбек и Кур-Шермат. На ладных иноходцах, поигрывая камчани, они объезжали скошенные поля и стогнали людей к хирману. Кур-Шермат искал Камилу, но парторга нигде не было.

У весов стоял Курбан-ата. Он уже забыл, что вместе с Камилом отстаивал право колхозников собрать колосья, а теперь по личному приказу Эртаева организовал контрольный пункт. Довольный данным ему поручением, с огромным красным карандашом за ухом, с перекинутой через плечо кожаной сумкой, он каждый мешок заставлял перевешивать по нескольку раз и отсыпал половину на ток. Люди волновались, спрашивали, где Камилджан.

Мальчишкам Курбан-ата сказал:

— Молодцы, джигиты! Половина вам, половина нам!

— Кому вам? — спросил Машраб.

— Государству, фронту, — ответил Курбан-ата.

— Тогда это нам, — возразил Машраб, и многие у весов засмеялись.

Старик не понял, сказал:

— Отсыпьте на хирман еще по пять килограммов.

— Это почему, отец? — спросил Кучкар.

— Потому что вы комсомольцы! Когда мы были такими, как вы, то не только колосья — последний кусок хлеба клали на общий дастархан!

К весам подошла Муяссар. Курбан-ата рассматривал ее слезящимися глазами, словно не узнавал.

— А ты, доченька, сбрось на хирман не пять, а семь килограммов.

Муяссар, мипуя весы, высыпала в общую кучу весь свой мешок и убежала. К весам подошел Камил.

— Товарищи колхозники! Коммунисты колхоза призывают вас сдать половину собранных колосьев в фонд Красной Армии,— сказал он.

Курбан-ата, высоко подняв фонарь, чтобы взглянуть, кто это говорит, узнал Камилу и, довольный, сообщил:

— Правильно говоришь, Камилджан. Я получил записку товарища Эртаева: у всех добровольно беру половину...

Камил молча пошел к стану. Проходя мимо Ядгарбека и Кур-Шермата, Камил сказал:

— Чтобы я завтра здесь вас не видел!

— Мы здесь по личному распоряжению товарища Эртаева. Товарищ Эртаев передал вам, чтобы вы приехали в райком!

— Я уже был в райкоме. Повторяю: чтобы вас завтра не было в степи. В колхозе некому работать, а вы на конях разъезжаете!

Камил пошел от них, устало сутуля плечи. Машраб с друзьями поняли, что-то случилось, и шли за Камилем в отдалении. Они видели, как он отвязал от коновязи своего коня, сказал поварихе:

— Я поеду в кишлак: давно белья не менял. Утром вернусь.

Ребята не хотели подходить к Камилу на людях.

— Перехватим его на холме,— предложил Кучкар, и все трое побежали к чернеющему склону Караул-тепа. Они не добежали до вершины, когда услышали топот копыт. Кучкар выбежал на дорогу и расставил руки:

— Стойте, Камил-ака! Это мы.

Камил слез с лошади и, держа ее в поводу, обеспокоенно спросил:

— Э, все ли в порядке, друзья?

— Еще спрашиваете! Какой может быть порядок, если на вас лица нет?

Камил засмеялся.

— Вы правы,— сказал он.— Между друзьями не должно быть секретов. Посидим, поговорим.

Они присели на выжженный, пахнувший мятой склон. Внизу, под ногами, мерцала огнями степь, слышались приглушенные голоса. В отдалении грустно пели девушки.

— Меня сегодня вызывали в райком, — сказал Камил. — Секретарь предложил провести в жизнь предложение Эртаева — собрать в фонд Красной Армии колосья на половинных началах. Понимаете, предложение Эртаева, почин Эртаева! А ведь Эртаев был против, когда я говорил, что разрешил собирать колоски. Надо нам с вами, друзья, еще многому учиться!..

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кончили уборку хлеба в степи, начали уборку хлопка в кишлаке. На полевом стане бригады «интеллигентов» появились лозунги:

«Хлопок — это боеприпасы!»

«Хлопок — это обмундирование для бойцов!»

«Дорогой товарищ! Сколько хлопка ты сдал в фонд обороны?»

В день начала уборки Гульсум-апа вывела в поле всю интеллигенцию кишлака — работников правления, сельпо, амбулаторию, учителей и старшеклассников, которые очень гордились тем, что и их причислили к интеллигенции. Поздравить людей с началом работ приехали Камил и Инобатхон, а немного спустя прискакал и Халмат Чавандаз. Все выглядело так, будто сделанное до сих пор — тысячи тонн зерна, овощей, фруктов, сданных государству, ничего не значили, будто только теперь началась главная работа, без которой не может обойтись фронт.

К вечеру первого дня был снаряжен «красный караван» из десяти арб. Его возглавил сам Курбан-ата на своем ишаке. Три головных арбы вели трое друзей, ставшие с этого дня грузчиками и арбакешами бригады. Работа была тяжелой. Рано утром выезжали в дорогу, возвращались вечером. Распрягали лошадей и, стреножив, пускали пастись, а сами принимались набивать хлопком мешки и грузить их на арбы. Только после этого спускались в долину.

Ребята ложились на высохшую траву, доставали завернутые в поясной платок самсу с тыквой, кукурузу в початках, испеченную в горячей золе. Ели с наслаждением, запивая ключевой водой, которая казалась слаще мусалласа. Иногда ночью к ребятам приходили Муяссар и Лариса. Тогда Машраб и Кучкар бывали по-настоящему счастливы.

Все неприятности этого лета меркли по сравнению с будущим, которое открывалось перед ними. Вражда с Эр-таевым казалась незначительной по сравнению с тем счастьем, которое они переживали. И лишь одно не давало покоя Машрабу и Кучкару — Гульчехра. Они чувствовали себя виноватыми перед Акмалем из-за того, что не вняли, как ему помочь. Как-то Кучкар не выдержал, сказал:

— Сам виноват. Если бы не был такой тряпкой, прочил бы ее разок!

Акмаль молчал и только сопел.

Машраб сказал:

— Ядгар окружил ее вниманием. Всякой девушке лестно внимание. Он ей то и дело преподносит подарки. Неужели ты хуже его?

Акмаль сделал вид, что заснул. Но на другой день, сдав хлопок, он, оставив друзей в чайхане, побежал на базар. Три кукурузных лепешки, которые он сэкономил, оказались не таким уж большим богатством. Ему едва удалось выменять на них пару поношенных шелковых чулок. По дороге из города он лежал навзничь на арбе, смотрел в звездное небо и думал, как преподнесет чулки Гульчехре. Пусть потом Ядгарбек почешется. На передней арбе бес-печно распевал Кучкар:

Меня не оценит красавица та,  
покуда ее не настанут года...

Странная песня и, как казалось Акмалю, глупая. При чем здесь совершеннолетие?

Акмаль задремал и проснулся от сильного толчка. Толкал его Кучкар.

— Вставай! Подходящий момент проснишь! — шипел Кучкар над его ухом.

Акмаль ошалело вскочил. Арбы стояли в долине, и Машраб уже успел выпрячь лошадей — свою и Акмаля.

— Ну что рот раскрыл?! — Кучкар стащил Акмаля с арбы и указал рукой на заросли камыша: — Беги в эту сторону!

Акмаль побежал, неуклюже переваливаясь на косолапых ногах, еще не очень хорошо понимая, чего от него хотят. Он продрался сквозь высокий, в рост человека, камыш и, когда выбежал на тропинку, увидел испуганно остановившуюся Гульчехру.

— Я думала, что в камышах кабан,— сказала она. На щеках ее заиграли ямочки.— Выходит, и вы научились перебегать девушкам дорогу, Акмаль-ака?

В прозрачном голубом платке, в ярком ситцевом платье и маленьких сапожках, она стояла на тропинке, освещенной луной, и покачивала головой.

Акмаль торопливо искал в поясном платке свой подарок и не смотрел на Гульчехру. Не хватало, чтобы он потерял чулки. Нет, нашел! Акмаль протянул девушке сверток, сказал:

— Возьмите! Этот скромный подарок я купил специально для вас.

— Подарок? Ой, зачем это?! — Гульчехра взяла сверток и, сияя от радости, стала рассматривать чулки, натягивая их на ладонь.— Ой, у них уже дырочки,— разочарованно сказала она.

Акмаль засопел, шевеля горбатым, мясистым носом.

— Что же делать? Я.. мы не в состоянии дарить шелковых платков!..

— Что, что?! Ах, платок! Значит, вы еще и ревнуете? — Гульчехра засмеялась.— Если мне дарят платок, не могу же я его не взять. Я ведь беру ваши чулки! Спасибо!..

Гульчехра побежала в долину, и Акмаль слышал, как она смеялась. Он рванулся было следом, очень довольный разговором, но сзади, со стороны хлопкового поля, его окликнул Ядгарбек, который теперь работал почтальоном.

— Эй, толстяк, не спеши!

Ядгарбек шел через поле, придерживая перекинутую через плечо сумку с обтрепанными краями. Он заранее достал из нее конверт и, не доходя шагов двух до Акмаля, бросил ему письмо.

— Чем приставать к чужим девушкам, думай лучше об отце,— сказал он.

Акмаль соображал, не стукнуть ли Ядгарбека и сразу от него избавиться, но вспомнил про письмо, а Ядгарбек тем временем побежал вслед за Гульчехрой.

Когда Машраб и Кучкар, удивленные долгим отсутствием Акмаля, нашли его, Акмаль сидел на тропинке, обхватив голову руками, и на вопрос Машраба, что с ним, молча передал ему письмо. Вернее, в конверте было два письма. Одно — официальное, за подписью главного врача госпиталя, а другое — написанное по просьбе Эшмата, отца Акмаля. Оказывается, Эшмат, работая на заводе, по-

пал под вагонетку и после операции находился в госпитале на излечении. Эшмат-ака писал: он случайно открыл, что его «омолодили» на шесть лет, и поэтому он думает, не спутали ли его по ошибке с Эшматом, сыном Мумина, — экспедитором, который как раз на шесть лет моложе. В официальном письме главный врач госпиталя просил председателя кишлачного Совета подтвердить год рождения Эшмата, который по возрасту не подлежит призыву в армию. Машраб прочитал письма вслух и переглянулся с Кучкаром.

— Все понял? — спросил Машраб.

Кучкар взял у него письмо, прочел.

— Конечно, понял, — сказал он. — Что я, дурак, потвоему?

Машраб, стиснув зубы, сказал:

— Больше терпеть нельзя. Напишем письмо в обком!

Акмаль по-прежнему молчал, но Кучкару предложение понравилось. Они писали письмо ночью, а чтобы оно скорее дошло, бросили его на другой день в городе в почтовый ящик проходившего поезда.

Дальнейшие события развернулись так, что ребята не знали, радоваться или плакать. И для того и для другого причин было больше чем достаточно. Когда показали полученные от Эшмата-отца письма девушкам, Лариса вдруг побледнела. Она схватила письмо главного врача и, ни слова не говоря, бросилась бежать. Кучкар догнал ее возле кишлака, потом подошли остальные. Лариса отдышалась, сказала:

— Я боюсь верить, но, кажется, мы нашли папу, вернее, он нас нашел. Неужели вы забыли мою фамилию?

Ребята переглянулись. В кишлаке не приняты были фамилии: просто говорили такой-то, сын или дочь такого-то. Поэтому они не обратили внимания, что фамилия главного врача была Гордый.

— Я только не знаю, как он расписывается, — говорила Лариса. — Не знаю, сразу показать письмо маме или сначала как-то ее подготовить.

Ребята, взволнованные не меньше Ларисы, шагали по улице, тесно окружив девушку.

— Давайте я буду разговаривать, — сказал Машраб. — Я плохо говорю по-русски. Пока буду говорить туда-сюда, Серафима Федоровна подготовится.

— Правда, так будет хорошо. Спасибо тебе.

Дома Серафимы Федоровны не оказалось, она с час назад ушла в поле. Выходит, зря бежали в кишлак.

— Куда вы? Что случилось? — спрашивала Махира-буви, выйдя вслед за ребятами на улицу. Но они уже были далеко...

Как только позволяло здоровье, Серафима Федоровна шла в поле. Впервые в жизни она видела, как раскрываются коробочки этого экзотического растения, названного «белым золотом». Она не могла оторвать глаз от поля, густо усыпанного белыми пушистыми коробочками, похожего на сад под мягким снегом или на сад во время весеннего цветения. Но не зря работа на хлопковом поле называлась фронтом. Те, кто занимался изучением труда хлопкоробов, говорили, что уборка хлопка приравнивается к работе в шахте.

Не верилось, что этот мягкий и легкий растительный пух на деле не легче антрацита. Серафима Федоровна приходила не просто любоваться хлопком. Когда позволяли силы, она приезжала в поле на ослике Махиры-буви и работала вместе со всеми, пока перед глазами не начинали плавать радужные, красно-зеленые круги. Тогда она выходила на край поля и отдыхала.

Ребята нашли Серафиму Федоровну в тени под пирамидальным топодем — тополя росли шеренгой по краю поля. Машраб, держа письмо из госпиталя в руке, принялся подробно рассказывать обстоятельства, при которых забрали на трудовой фронт отца Акмаля. Серафима Федоровна слушала очень внимательно, пытаясь понять суть, но потом стала пристально смотреть на письмо в руке Машраба. Все, как и Машраб, следили за выражением лица Серафимы Федоровны и не обращали внимания на письмо.

— Где ты взял это письмо? — неожиданно прервала Серафима Федоровна.

— Как где? Я вам доложил, Эшмат-ака прислал сыну письмо.

— Но где ты взял это письмо? Дай-ка его сюда!..

Только теперь все заметили, что Машраб держал письмо так, что видна была подпись главного врача. С него и не спускала глаз Серафима Федоровна. Потом Машраб утверждал, что он держал письмо так нарочно. Но Кучкар в этом сильно сомневался. Кучкар говорил, что, когда Серафима Федоровна забирала у Машраба письмо,

у того был вид, будто он вместе с тутовой ягодой проглотил осу.

— Мама! Мамочка, что с тобой?! — закричала Лариса.

Серафима Федоровна сидела бледная и не спускала глаз с подшиси.

— Где ты взял это письмо? — снова спросила она, не обращая внимания на дочь.

Машраб принялся вновь рассказывать, как Акмаль получил письмо, поминутно приговаривая:

— Вы не расстраивайтесь, все будет хорошо! Вы не расстраивайтесь!..

На другой день вместе с караваном Серафима Федоровна поехала в город. Она отправила сразу две телеграммы, и на вопрос телеграфистки, почему она посылает две одинаковые телеграммы по одному адресу, ответила:

— Одна не дойдет, так другая дойдет.

Кроме телеграмм, Серафима Федоровна отправила три письма: одно в отдел кадров военного округа, второе — в горздравотдел и третье — мужу.

Она просидела на почте полдня. Ей уже неудобно было беспокоить телеграфистку вопросом, ушли ли телеграммы, и она просто не спускала глаз с окошка. Следила она и за почтовым ящиком, ожидая часа выемки писем. Машраб, захавший на почту на обратном пути, едва уговорил ее вернуться в кишлак.

Весь кишлак только и жил этим событием. Серафима Федоровна, помолодевшая, принимала поздравления. Вместе с ней радовалась Мастура: молодая женщина поверила в чудеса, и легкая улыбка не сходила с ее губ в течение дня. После этого события все жили ожиданием вестей.

Серафима Федоровна давно замечала взаимную приязнь между дочерью и Кучкаром. Замечала, но не придавала этому никакого значения. Теперь ее все стало интересовать, как будто только теперь стала она возвращаться к жизни после тяжелой болезни. Когда из города приходил караван, она старалась быть в поле. Она видела, как мальчики торопились управиться с лошадьми и бежали к девчонкам, о чем-то шушукались. Ее успокаивало то, что они все время держались вместе. Но все же она поговорила с Гульсум-апа, делясь с ней своей тревогой.

— У нас не может быть ничего плохого, — сказала Гульсум-апа, и Серафиме Федоровне даже показалось, что она немного обиделась. Обе женщины решили поговорить



с ребятами и очень быстро выяснили, что причина их таинственных переговоров — письмо, которое они послали в обком. Была еще одна причина их частых уединений. Родители не выпускали Гульчехру из дома под видом болезни. Но когда Муяссар и Лариса пошли проведать подругу, их не пустили в дом. Они слышали, уходя, плач Гульчехры и сердитый окрик ее матери.

— В твои годы я уже сама была мамой! — кричала она.

Машраб и Кучкар не могли смотреть на Акмаля. Было непонятно, за что его в свое время прозвали толстяком. Он похудел, почернел лицом, стал раздражителем, в ответ на шутки лез в драку. Как-то днем, когда ребята работали в поле, потому что в тот день не было собранного хлопка, Акмаля вызвал в правление секретарь кишлачного Совета. Чавандаза в эти дни в кишлаке не было, он уехал с Камиллом на горные пастбища. Секретарь сельсовета попросил показать письмо Эшмата и главного врача, после чего обещал приготовить справку. Из этого факта ребята сделали вывод, что письмо в обком начало действовать, и приободрились. Во время обеда к ребятам подошел Информбюро.

— Советую вам вечером быть на дороге у кладбища, — сказал он и хотел уйти, но Кучкар поймал его за ногу.

— Я думал, что вы порядочные люди, — сказал Информбюро.

— Тебе не повезло: мы не порядочные. Выкладывай, в чем дело, — ответил ему Кучкар.

...Перед вечером Серафима Федоровна собирала хлопок над оврагом. Мимо нее прошли Машраб, Кучкар и Акмаль. Все трое с ней поздоровались. Кучкар старался быть с ней особенно приветливым и еще издала, блестя зубами и заранее снимая тубетейку, кричал:

— Здравсьте!

Они спустились в овраг и вскоре снова появились. На этот раз с ними была Муяссар.

К Серафиме Федоровне подошла Гульсум-апа с горстью хлопка в руке.

— Пойдемте выпьем по пиалушке чая, вы, наверно, устали? — сказала она.

На хирмане, кроме учетчицы Катя Святковской, которая сидела под тутовником и что-то записывала, никого не было. Собранный хлопок еще не был набит в мешки.

— Где ребята? — спросила Гульсум-апа.

— Где же им быть? Опять побежали к девчонкам,— сказала Катя.— Не успеют вернуться из города, сразу к ним бегут. А сегодня весь день ходят за их юбками.

— На то они и парни,— сказала Серафима Федоровна.

Прихлебывая горячий чай с легкой горчинкой, которая, став привычной, начинала казаться сладостью, Серафима Федоровна сказала:

— Только сейчас их встретила. Прошли, как заговорщики!

— Наверно, что-то узнали о Гульчехре. Ходят слухи, будто ее родители собираются тайком отпраздновать свадьбу.

— Как же так? Ей, кажется, нет шестнадцати лет?

— Какое им до этого дело? У нас без свадьбы нельзя поцеловать девушку, а после свадьбы все можно... Тут день и почь гнешь спину. Все для фронта. Только и думаешь, как там, на фронте...— Гульсум-апа неожиданно умолкла.

С хлопкового поля вышла Барно. Она была в поношенном атласном платье, в красивых сапожках и в шелковом платке, небрежно брошенном на голову. Со стороны Барно казалась по-прежнему красивой, но Гульсум-апа видела — в ней надломилось что-то...

— Здравствуйте,— сказала Барно.

— Здравствуй, милая! Как дела? Почему не приходишь?

— Спасибо. Как-нибудь зайду...

Барно, не ожидая остальных женщин бригады, ушла в кишлак. Она явно спешила.

— Ее тоже сбили с пути,— сказала Гульсум-апа, побледнев.— Правильно делают ребята. Пусть пишут в обком, в ЦК! Пусть борются. Посмотрим, до каких пор может твориться такое...

Гульсум-апа вскочила и пошла к хирману. Серафима Федоровна села на ишака Махиры-буви и поехала домой, удрученная тем, что впервые не знала, чем помочь женщине, принявшей участие в ее судьбе.

Ночью Серафиму Федоровну разбудила суматоха в доме, испуганный голос Махиры-буви. Во дворе кто-то ходил, тяжело топая сапогами, калитка то открывалась, то закрывалась, кто-то пробежал с лампой во двор и обратно, кто-то плакал.

— Ой, дети мои милые! Что же вы наделали! — причитала Махира-буви.

Серафима Федоровна испуганно коснулась рукой постели Ларисы — постель была пуста. На лбу Серафимы Федоровны выступил холодный пот. Она натянула на себя платье и выбежала во двор.

Ярко светила луна. На широченной деревянной кровати со спинками-перилами посредине двора сидели Машраб и Кучкар. Поодаль маячил Акмаль. Махпра-буви с семиметровой мигающей лампой в руке что-то говорила Машрабу.

— Что случилось, бабушка?! — спросила Серафима Федоровна.

— Ой, милая доченька Серафима, — Махпра-буви тронула Серафиму Федоровну за плечо. — Они... наши дети, дочь Фазлетдина-аксакала Гульчехру похитили...

Машраб только рукой махнул:

— Что значит похитили? Просто другого места нет — привели сюда! — закричал он, видимо не в первый раз что-то объясняя перепуганной старухе.

Рука Махпры-буви, в которой она держала лампу, ходила ходуном. Старуха, обычно очень сообразительная, совершенно потерялась от испуга.

— Что же теперь будете делать с похищенной? Сыграете свадьбу? Кто же из вас жених? — спрашивала Серафима Федоровна, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

Услышав слово «жених», Акмаль решительно двинулся со двора, но Кучкар сорвался с кровати и, хохоча, побежал за ним.

— А что было делать? — запальчиво спросил Машраб. — Надо было молча смотреть, как Ядгарбек и Кур-Шермат увозят девушку?

— Почему же ваша девушка тогда плачет? Почему она не радуется, что вы ее спасли? — закричала Махпра-буви.

Сквозь открытое, ярко освещенное окно большой комнаты слышался плач.

— Вот что, войдемте в дом и обо всем спокойно поговорим, — сказала Серафима Федоровна.

Собственно, говорить и рассказывать особенно было нечего. Ребята, ободренные удачами последних дней, решили действовать еще активней.

Они подолгу лежали на плотине, прислушиваясь к шелесту тополей, квакаю лягушек, шуму воды, вынашивая планы расправы с Эртаевым и его приближенны-

ми. Было очень приятно засыпать на мягком клевере, видя осуществленными самые дерзкие замыслы.

После сообщения Информбюро они решили действовать без промедления.

Ребята притаились в овраге, недалеко от раздвоенного орешника, памятного с той ночи, когда ходили за хандалаяками. Ночь выдалась прохладной, а может быть, их просто пробирала нервная дрожь. Кутаясь в халаты и прижимаясь друг к другу, они старались не стучать зубами. Машраб, согреваясь, стал засыпать, и тут же Кучкар толкнул его в бок. Машраб вскочил, ничего не понимая, услышал топот копыт и увидел силуэты двух всадников. Они проехали мимо орешника и повернули к плотине.

— Кур-Шермат и Ядгарбек, — сказал Кучкар. — Теперь не зевать.

Всадники доехали до деревянного моста, повернули вправо и остановились на берегу плотины.

— Приехали за Гульчехрой, — пояснил Кучкар. — Побоялись подойти с улицы. Уже хорошо. Значит, не очень уверены. Стой! — Кучкар едва успел перехватить рванувшегося Акмаля. — Не спеши. Все дело испортишь, — зло шептал он, задыхаясь от усилий. — Пошли!

Они перелезли через дувал, прошли садом и вышли почти к самому дому Гульчехры у плотины. Остановились в тени деревянного моста и стали смотреть. Ядгарбек, держа в поводу лошадей, стоял под знакомым белым тополем, а Кур-Шермат по стволу краснотала перешел арык и скрылся в саду.

Через некоторое время из сада вышли две женщины и Кур-Шермат. Они перебрались через арык. Кур-Шермат поднял очень маленькую, закутанную в паранджу женщину (ребята по росту догадались, что это Гульчехра) и посадил ее на лошадь за спину Ядгарбека. Послышался плач, приглушенный паранджой, слова второй женщины:

— Счастливого пути! Не забудьте обещанное...

Всадники, торопливо подгоняя коней, проехали мимо ребят и повернули в сторону кладбища. Машраб чуть не упал, отброшенный в сторону: Акмаль, неуклюже покачиваясь, рванул мимо него и побежал наперерез лошади Ядгарбека.

— Стой, басмач! — заорал он.

Машраб подумал, что начнется драка, но все обошлось неожиданно мирно. Кучкар рывком за ногу стащил Кур-Шермата с лошади. Тот попробовал встать, но Кучкар продолжал держать его ногу, и Кур-Шермат, беспомощно попрыгав, упал. Ядгарбек вообще не сопротивлялся, когда Машраб снял Гульчехру. Он только выругался, хлестнул коня и ускакал.

Гульчехра сначала закричала, но, когда узнала ребят, принялась плакать. С тех пор никак не может успокоиться, плачет и плачет, уткнувшись лицом в подушку, в углу гостиной...

Машраб, поглядывая то на бабушку, то на Серафиму Федоровну, спросил:

— Что нам было делать? Оставить ее тем разбойникам?

Серафима Федоровна сказала:

— Об этом давайте спросим Гульчехру.

Все засмеялись. А Гульчехра глубже зарылась головой в подушку и умолкла. Все было серьезнее, чем они думали. Для Гульчехры давно не были тайной намерения Ядгарбека. Одно время она старалась не принимать его ухаживания, но потом не удержалась, стала принимать его подарки — куски душистого мыла, золотые сережки... Гульчехра с детства любила всякие побрякушки и украшения. Когда он, беспечно насвистывая, стал приходить в их вишневую рощу у дувала, Гульчехра выбегала к нему, чувствуя, как сильно колотится сердце. Дальше все сладилось без ее ведома. Вечером какие-то женщины принесли сундук всякой одежды, завалили Гульчехру атласными платьями, шелковыми платками, заставили надеть лакированные пчиги с кавушами. У нее голова пошла кругом, а в сердце пробудилась какая-то смутная тревога, и она расплакалась. На нее накричала мать. Мать ее и раньше говорила, чтобы она не прозевала своего счастья. А потом вмешался отец. Отец сказал, что женская непокорность никогда не доводила до добра. К тому времени, когда пришел Кур-Шермат, Гульчехра уже готова была согласиться на все и ее удерживал только страх перед неизвестным и то, что подумают о ней Муясар и школьные подруги.

Теперь она лежала, уткнувшись носом в подушки, не зная, что ей делать: радоваться или сожалеть о случившемся.

Кучкара обозлило ее молчание.

— Послушай, Гульчехра,— сказал он.— Если ты недовольна, скажи: сейчас же можем отвезти тебя к Ядгарбеку.

Лариса подумала, что он шутит, сказала:

— Смотри, Гульчехра! А то они возьмут и правда отвезут. Они такпе.

Гульчехра засмеялась, и все вздохнули с облегчением, а бабушка на радостях решила всех напоить чаем.

На рассвете ребята, как обычно, повезли в город хлопок, а когда вернулись вечером, узнали, что вскоре после их отъезда в доме Махиры-буви произошла большая неприятность. К ней с воплями и криком пришли мать, отец, родичи Гульчехры. Вместе с ними был секретарь и два депутата кишлачного Совета. Секретарь принялся составлять акт о похищении девушки и очень напугал Махиру-буви, обвинив ее в соучастии. Правда, когда депутаты узнали, в чем дело, они отказались подписывать акт. Но акт все равно был составлен и подписан родителями Гульчехры.

Все это прошло как-то мимо внимания Серафимы Федоровны, которая жила как во сне, ожидая письма или телеграммы от мужа. Только через два дня, когда к матери пришла Гульсум-апа и, дрожа от возмущения, рассказала, что в кишлак приехал следователь, чтобы начать дело по обвинению ребят в похищении несовершеннолетней девочки, Серафима Федоровна пришла в себя. Она решила, как человек совершенно посторонний, написать письмо в обком, предупредив, что, если понадобится, обратится в ЦК. Как могла, она успокоила Гульсум-апа:

— Вы же умная женщина,— сказала она.— Из этого обвинения ничего не получится. Они сами себя высекут. Просто товарищи распоясались и забыли, что у нас советская власть.

Слова эти, сказанные сочувственно, с возмущением, успокоили Гульсум-апа и придали ей уверенности.

Чавандаз и Камил ездили по горным частбицам, отбирая на продажу двадцать скакупов. На вырученные деньги колхозники решили построить танк имени колхоза «Путь Ленина». Вся слава от этого дела должна была прийти на долю Кампла и Инобатхон. Со стороны казалось, что Чавандаз поехал с Камплом совершенно бескорыстно — просто как знаток коней. На самом же деле у председателя кишлачного Совета был свой расчет. Он

уехал, чтобы свадьба сына состоялась в его отсутствие. С молодых взятки гладки, а после свадьбы никому не придет в голову их разводить. Была еще одна причина, побудившая Чавандаза уехать на время из дома. Фатима, после того как Кучкар перестал приходить домой, беспрерывно плакала, и ее слезы доводили Чавандаза до бешенства.

Чавандаз вернулся в кишлак отдохнувшим и повеселевшим. Оказалось, что Фатима плакала по-прежнему, а Ядгарбек, вместо того чтобы жить с молодой женой в горах у родственников, сидел дома. Чавандаз рассвирепел, особенно когда в Совете секретарь положил ему на подпись справку о действительном возрасте незаконно мобилизованного на трудовой фронт Эшмата. Чтобы оправдать свои действия, секретарь показал полученное из области письмо Машраба с резолюцией: разобраться и доложить первому секретарю обкома о принятых мерах. Чавандаз принялся ругаться, но секретарь его успокоил:

— Благодарите аллаха, что письмо вернули для проверки к нам.

...Чавандаз лежал дома, в ярко освещенной двадцатилинейной лампой гостиной, подложив под грудь подушку. Днем он позвонил Эртаеву и прочел ему по телефону то место, где Машраб писал, что Эртаев покрывает жуликов и развратничает с невестами и женами фронтовиков. Эртаев выслушал, выругался, потом, немного подумав, сказал:

— Вечером приеду. Ждите дома, — и повесил трубку.

На хан-тахте, на расстоянии руки, перед Чавандазом стояли блюда с очищенным орехом, кишмишом, сладостями. В синеватом кувшине, окруженном пиалами, просвечивал душистый мусаллас. Чавандаз, прищурясь, смотрел в черное стекло окна, в котором отражался свет лампы, прислушиваясь к тревожному гулу раскачиваемых ветром деревьев в саду. Ничего не поделаешь, кончилось лето, проходила осень, приближалась зима.

Кто-то, тяжело ступая, прошел через террасу. Чавандаз быстро вскочил. В комнату вошел Ядгарбек — он должен был встречать у ворот Эртаева.

— Чай подавать, отец? — спросил он.

— Чай? — переспросил Чавандаз. Его угнетал вид сына, выглядевшего, как побитая собачонка. — Объясни мне, сынок, ты почему раскис, точно ты не сын Чавандаза, а мокрая курица?

Ядгарбек молчал, не находя места своим длинным, нескладным рукам.

— Выше голову, сынок! Не надо умирать, раз ты еще жив. Гульчехра будет твоя, слышишь?

Ядгарбек улыбнулся, блеснув золотым зубом.

— Мне передавали люди: девушка не против. Жалеет, что так получилось... — сказал он.

— Хоп! Совсем хорошо. Возвращайся к воротам, нехорошо, если дорогого гостя никто не встретит.

Чавандаз проводил глазами сына, задумался. Устроить Ядгарбека на железную дорогу и тем самым обеспечить ему бронь пока не удалось. Наверно, придется парню идти на фронт. А до этого пусть станет мужчиной и, если не удастся спасти сына, пусть оставит внука... Больше нет никого. Кучкар не в счет. Не зря говорят: если у ишака вырастут рога, он обязательно боднет ими хозяина.

А вот это Эртаев... Чавандаз услышал на террасе шаги. Эртаев быстро вошел в комнату, в синем кителе, в слегка поскрипывающих хромовых сапогах. Он за руку поздоровался с Чавандазом и, не успев присесть на курпачу, сказал:

— Где жалоба, о которой вы говорили? Давайте сюда!

Его движения, каждое слово были полны такой решительности, что Чавандаз сразу приободрился.

Эртаев снял фуражку, бросил ее на подушку и, пробегая глазами поданное письмо, спросил:

— Выдали справку Эшмату-ака?

— Нет! Как можно выдавать? Это значит признать...

Эртаев неприязненно посмотрел на Чавандаза.

— Вы, оказывается, дурак, Халмат-ака... Простите мои слова. Выдать справку — значит исправить какую-то случайную ошибку. А не выдать справку — значит признать, что вы действовали с умыслом. Эшмат-экспедитор все равно уже на фронте — ему ничем не поможешь... А это что? Акт? — Эртаев не дочитал акта до конца, спросил: — Неужели девушки перевелись? Неужели, кроме этой, нет больше никого? Может, они из-за нее начнут стреляться?

— Молодость, Эртаев-ака! Единственный сын, влюбился... Долг отца — помогать.

— Вам виднее. Но одно запомните: больше ни одной жалобы из кишлака не должно быть!

— Эртаев-ака, сколько людей — столько недовольных. Самп знаете.



— Я ничего не хочу знать. Во всяком случае, сейчас, в эти дни. На днях меня вызовут в обком. В обкоме недовольны председателем райисполкома...

— Поздравляю! Поздравляю, Эртаев-ака! Наконец-то вас по-настоящему оценили. За такую вестъ надо выпить...

— Не будем преждевременно поднимать шум! Лучше молча выпьем. Ваш мусаллас стоит того, чтобы его пили безо всякого повода, просто чтобы выпить...

Эртаев шл маленькими глотками. Чавандаз понял, что мысли его сейчас далеко, что сейчас главное молчать, чтобы не мешать влиятельному гостю думать.

Эртаев выпил третью палу, но был совершенно трезв, только глаза его вдохновенно блестели.

— Теперь нельзя быть сердобольным, Чавандаз,— сказал он.— Теперь нужны руководители с железной волей. Тот, кто сумеет выжать из людей больше пота,— тот будет на коне. Запомните три вещи, Чавандаз: зерно, мясо, хлопок... Если мы сумеем дать их больше других, мы можем жить так, как хотим... Но пока ни одной жалобы! Поняли?

— Очень хорошо понял, Эртаев-ака. Но вы невнимательно прочли акт. Я думаю, что если умело повернуть дело, то можно эту лихую тройцу прибрать к рукам. Во всяком случае, какая будет вера тем, кто в наши дни похищает девушек?

— Хоп! Мысль неплохая, раис-ака. Кажется, один из этой тройцы — ваш пасынок?

— Что делать, Эртаев-ака? Вы сами сказали: руководитель должен быть твердым.

Так за мусалласом появился план, который привел в кишлак следователя.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Произошло такое, что хуже, пожалуй, и быть не может: Машраба, Кучкара и Акмаля арестовали. Посадили их, правда, не в настоящую тюрьму, а в амбар при кишлачном Совете, в котором Машраб уже побывал, но все равно арест есть арест! А между тем ни Машраб, ни Кучкар не считали свое положение серьезным. Все дело было в следователе. Обычно при словах «следователь», «прокурор» перед Машрабом вставал сильный, решительный человек с суровым лицом и орлиными глазами. А про этого

следователя даже думать не хотелось, такой же карапуз, как Эшмат-экспедитор, смотрит заплывшими глазками и все время хихикает, а брови, как усы,— торчат в обе стороны, словно приклеенные. Такое лицо нарочно не придумаешь!

Прежде чем посадить их в амбар, следователь придвинул им по листу бумаги, на котором было написано: «Протокол допроса свидетеля».

— Эта бумажка называется: «Если я скажу неправду, пусть покажут мне, где раки зимуют». Прошу для истории поставить здесь свои подписи! — сказал он, хихикая. Потом, разгладив брови так, как разглаживают усы, добавил: — Жаль, жаль! Если жениться захотели, лучше сказали бы мне, чем похищать девушек. Я нашел бы вам такую, которую и мама не целовала!

— И правда, обидно, — сказал Кучкар. — А может, еще не поздно? А то ведь мы раньше вас не знали.

— Зато теперь будете знать, — ответил следователь и снова захихикал.

В таком тоне продолжался весь первый допрос, который по сути дела и допросом трудно было назвать: следователь то подшучивал, вспомнив про хандаляшки, то говорил: «Жаль, жаль, не пришли к соглашению с девушкой...»

— Разве это допрос? — сказал Кучкар, когда их привели в амбар. — Верблюда видал?.. Нет!.. Кобылу видал?.. Нет!.. Смех один...

Но ничего смешного в их положении не было. Во-первых, ни одна живая душа не видела, как Ядгарбек и Кур-Шермат увозили Гульчехру, и следователь только хихикал, когда ребята говорили ему о Ядгарбеке. Во-вторых, было неизвестно, как поведет себя Гульчехра, но если бы даже она и сказала всю правду, то следователя эта правда все равно бы не устроила: следователь обвинял ребят не только в похищении, но и в возвращении несовершеннолетней девочки.

Парни попробовали перейти в паступление.

— Вы ничего не слышали про Эшмата-экспедитора? — спросил Машраб. — А про другого Эшмата, которого вместо экспедитора отправили в армию?

— Эшматов пока оставим и поговорим об Акмале, — отрезал следователь. — И вообще не советую вам заниматься кляузами. — Он вдруг рассердился и, размахивая короткой ручкой, стал говорить о том, что не допустит

такого безобразия, что они будут отвечать по всей строгости советского закона. Но это было уже на третьем допросе.

«Блюститель законности нашелся! — думал Машраб. — Белое называет черным, черное — белым, а говорит о законности».

— Как ты думаешь, почему он сказал, что не советует нам заниматься кляузами? Может, он знает про наше письмо в обком? — спросил Машраб Кучкара.

— Э, Дивана, я тоже об этом думал. Кто знает, может, наше письмо перехватил Эртаев!

Акмаль, который все время молчал, забившись в дальний угол, упал лицом на клевер и застонал, обхватив голову руками.

— Нет погнбелли на мою голову! Надо умереть. Нельзя жить без удачи... — причитал он.

Машраб хотел подойти к нему, но Кучкар не пустил.

— Утешать мужчину — все равно что лить масло в огонь, — сказал он.

Из них троих только Акмаль серьезно отнесся к их аресту.

Сначала он казнился из-за того, что по его вине ребята сидят в амбаре. Но когда Кучкар сказал, что, если Акмаль не замолчит, он ему голову оторвет, Акмаль начал причитать: мол, пока он сидит здесь, братишки и сестры умрут с голоду... Самой же главной причиной удрученности Акмаля было вероломство Гульчехры. Об этом он, конечно, молчал, но вероломство девушки не давало ему покоя.

То ли раздался стук в окно, то ли сначала послышался жалобный шепот женщины — Машраб не помнил. Явственно во второй раз услышал он сказанные шепотом слова:

— Сынок!.. Сыночек мой дорогой!..

«Мама или бабушка», — подумал Машраб и сорвал бумагу, которой было заклеено окно. Пристально глядя в темноту, он позвал:

— Мама!.. Бабушка!..

Он различил голову и плечи женщины, укутанные платком.

— Сынок мой, Кучкарджан! — сказала она.

— Тетушка Фатима! — громко сказал Машраб и толкнул ногой Кучкара.

— Мать?

Кучкар пробрался к окну. Он не ожидал, вернее, не желал прихода матери, поэтому ему стало не по себе.

— Мама,— сказал он,— зачем вы пришли ночью?

Женщина не ответила. Она прижалась головой к железной решетке и тихо заплакала.

Она что-то шептала, но всхлипывания мешали понять, о чем она говорит. Кажется, Фатима просто изливала душу, прося у сына прощения, сетуя на свою судьбу.

— Мама,— сказал Кучкар, и по его голосу Машраб понял, что он тоже расстроен,— ничего не случилось, отпустят завтра-послезавтра!

— Ой, ненаглядный ты мой! — зарыдала тетушка Фатима.— Лучше бы мне умереть, чем выйти за этого Чавандаза. Жеребеночек ты мой, почему я не умерла в тот день и час, когда вышла за Чавандаза!..

— Хватит, мама, иначе...— Что «иначе» — Кучкар сам не знал. Но его резко сказанные слова подействовали: тетушка Фатима перестала плакать и протянула в окно сверток.

— На, сынок, лепешки. А это немного плова. Вчера готовила для гостей по заказу отчима... Сама есть не могла...

— Спасибо, мама, а теперь идите. На днях отпустят...

— Если отпустят, домой придешь?

— Приду, мама, приду. Идите... идите!..

Кучкар отошел от окна, сказал:

— Живем, слюнтяи. Первым делом покушаем, а там видно будет!

Что значит каса плова на трех парней? Так, баловство. Каждый зачерпнул рукой по три-четыре раза — и нет ничего. Закусывали лепешками и кишмишом.

Кучкар погладил живот, сказал:

— Каждый день бы так — через неделю будем не хуже следователя.

— Конечно,— сказал Машраб.— Тебя для того сюда и посадили, чтобы откормить.

— К сожалению, меня откормить, наверно, не удастся, а вот Акмаль наверняка похудеет.

— Отстань от него. Он уже и так похудел.

Поговорили и задремали. На рассвете у дверей поднялся шум. Сердитый голос приказывал:

— Ну-ка! Открой дверь, аксакал!

— Не обижайся, парторг-ака, без разрешения следователя не могу.

— Я буду отвечать перед следователем!

— Камил-ака! — крикнул Машраб и стал будить Кучара и Акмаля.

Все трое закерли, приложив уши к дверям.

На требования Камила открыть двери сторож отвечал одно:

— Никак не могу! — Потом, очевидно не желая портить отношения с парторгом, сказал: — Если хотите дать им передачу или поговорить — пожалуйста, парторг-ака, а открыть дверь никак не могу.

— Э, аксакал, тебе бы милиционером работать, а не сторожем в колхозе, — устало сказал Камил и, стуча сапогами, обошел амбар. Он загородил головой свет в окне, взгляделся внутрь амбара, спросил: — Как дела, джигиты? Чего это вы сюда забрались?

Его веснушчатое, скуластое лицо дочерна загорело, а может быть, так только казалось в полумраке, не узбекские синие глаза смотрели на ребят пытливо и грустно.

— Как чего? Надо же когда-нибудь отдохнуть, — сказал Кучкар.

— Неплохо придумали, — засмеялся Камил. — А я было расстроился. Приехал ночью с гор — слышу, такие дела. Насколько я понимаю, кто-то делает из мухи слона. А мы из слона снова сделаем муху. Держитесь! Поняли?!

Этот день стал вроде бы днем посещений. Не успел уйти Камил, как пришла Махира-буви. Обливаясь слезами, она передала узелок с едой и даже не захотела или не могла разговаривать. Едва отошла она от окна, как появилась мать Акмаля — тетушка Салия. Она ничего не принесла.

— Что же ты наделал, сынок? Хотя бы уже приехал твой отец! Что же с нами будет? — причитала она, прильнув к окошку.

Втроем ее еле успокоили. После ее ухода время потянулось медленно. То и дело подходили к окошечку — не идет ли Камил?

Камил не пришел ни в этот, ни на другой день. Следователь тоже не вызывал на допрос, и ребята терялись в догадках: что же такое происходит? А происходило следующее...

В день ареста ребят Инобат в кишлаке не было — она с бригадирами-полеводами была в степи: выбирали поля под озимую пшеницу. Стояли золотые дни ранней осени, мягкие, как шелк. Кончали уборку хлопка. Хотя колхоз и не вышел на первое место, но прочно стоял в числе передовых. После того как в республиканской газете напечатали заметку о том, что колхоз решил внести в фонд Красной Армии пятьсот тысяч рублей и заказать танк, названный по имени колхоза, — слава Инобат в районе и области утвердилась. Но на душе у нее все равно было грустно и беспокойно. Пора было начинать сеять озимые, а семян не хватало. Казахские колхозы, за которые сдали хлеб, не везли долг, и никто не знал, что делать.

Инобат возвращалась в кишлак верхом на лошади, окруженная, как военачальник, своими бригадирами. Она думала, что, если колхозы сами не везут долг, придется, видно, послать к ним караван и получить долг на месте, а пока вести пахоту и посеять те семена, которые есть в закромах. По дороге в кишлак встретили арбакешей, которые везли в город хлопок, и от них Инобат узнала об аресте парней. Это переполнило чашу ее терпения. Она рассчитывала послать их с караваном ишаков в казахские степи.

Инобат оставила ехавших на ишаках бригадиров и поскокала вперед. Она влетела в кишлак на вспененном пноходе, и когда ее увидели на хирмане девушки и женщины, набивавшие мешки хлопком, они обступили тяжело дышащую лошадь и, подливая масла в огонь, запричитали:

— Тут невинных парней арестовывают, а вы где-то пропадаете!

— Что же это такое, раис-апа? Делают в кишлаке, что хотят!..

Инобат с хирмана примчалась в правление и увидела следователя на широкой деревянной кровати под тутовником. Обливаясь потом, следователь пил чай.

— Где вы пропадали, ападжан? Мы к вам, а вас нет, — приветливо спросил он.

Инобат, сдерживая гнев, осторожно присела на край кровати.

— Вы говорите так, словно по доброму делу приехали, — сказала она.

— Ничего не поделаешь, ападжан, такая у нас работа неприятная.

Инобат решила, что нечего играть с ним в прятки.

— Это дело вы всерьез затеяли? — спросила она.

— То есть?

— Без всяких то есть... Вы решили по-настоящему арестовать ребят или только припугнуть?

— Странные вещи говорите, ападжан, — сказал следователь.

— А мне странно, что вы, взрослый человек, можете серьезно заподозрить трех лучших ребят в похищении девушки.

— Я приехал, чтобы установить истину. — Улыбка исчезла с круглого, добродушного лица следователя. Брови, похожие на усы, сошлись над переносицей.

Инобат уже стояла, похлестывая камчой по голенищу сапога.

— Боюсь, что не ту истину ищете, мулла-ака.

Инобат не стала ждать возражений. Она поехала на квартиру к Камилу, но узнала, что он еще не возвращался с гор. Тогда она поскакала в город, забыв, что ночью в райкоме никого не бывает. Переночевав у сестры, утром она пришла в райком.

Умаров куда-то собирался. Стоя в зимней шапке-ушанке и в шинели без погон, он что-то складывал в толстую папку. Секретарь, всегда сдержанный, почти суровый, сегодня не скупился на теплые слова:

— О, Инобатхон! С тех пор как написали о вас в газете, вы совсем нас забыли...

Инобат покраснела, как девушка от похвалы учителя.

— Все время о вас помню, Умаров-ака... Потому и приехала.

— Что случилось? Все ли благополучно? — Умаров снял шапку и пригладил рукой седые волосы, готовясь выслушать Инобат.

— Если бы все было благополучно, зачем бы мне лететь к вам спозаранку, Умаров-ака? В то время, когда у нас каждый человек на вес золота, взяли да арестовали без всякой вины трех лучших работников колхоза.

— Говорите, без вины? А мне докладывали, что они похитили девушку!

— Кто похитил? Они или взбесившийся с жиру сын Чавандаза?

Инобат встала, но тут же снова села. Она видела, что ее слова, вернее, не столько слова, сколько горячность, поколебали, но не убедили секретаря райкома. Тогда она решила пойти напролом.

— Помните, летом нас заставили сдать семенной фонд, обещали, что семена привезут из казахских степей?

Умаров смущенно кашлянул, сказал:

— Да, помню...

— Так вот, зерно нам не привезли и не привезут... Для того, чтобы посеять озимые, надо самим ехать за зерном. Мне позарез нужны эти ребята, колхоз не может обойтись сейчас без них...

Инобат остановилась, не в силах совладать с собой. Умаров медленно прошелся по кабинету, возвратился к столу, взял трубку телефона и попросил прокурора, потом Эртаева, ни того, ни другого на месте не было.

— Хоп, Инобатхон! Я поручу это дело прокурору и Эртаеву. Вопрос решится в ближайшие день-два...

— Только не Эртаеву,— быстро сказала Инобат.

Секретарь посмотрел на нее, помолчал.

— Скажу вам под большим секретом: Эртаева рекомендуют председателем райисполкома. Что вы против него имеете? — спросил он.

Инобат смотрела на усталое лицо секретаря с болезненными мешками под глазами и подумала, что секретарь сейчас видит сильного, молодого, энергичного Эртаева, на которого можно опереться, возложить на него значительную часть работы. А все, что могла сказать Умарову Инобат, вряд ли покажется ему убедительным.

— Все мы люди, Инобатхон! У всех у нас есть недостатки,— как-то устало и грустно сказал секретарь.

Инобат вернулась в кпшлак и остаток дня просидела дома. В полдень зашли Гульсум-апа и Серафима Федоровна. Серафима Федоровна вернулась из областного центра. Она разговаривала с помощником секретаря обкома, и тот обещал проконтролировать дело.

— Я не могу себе представить что-либо подобное у нас, в Ленинграде,— возмущенно говорила она.— Я так и сказала в обкоме, что, если кому-нибудь рассказать об этом,— не поверят!

Гульсум-апа казалась печальной, молчаливой, бесконечно усталой. После их ухода Инобат прилегла, чувствуя ломоту во всем теле.

Инобат проснулась от конского топота. Во двор въехал обросший бородой Камил.

— Заходите, Камилджан, заходите. Вы даже не знаете, как вовремя приехали,— сказала в окно Инобат.



Поначалу Камил горячился и хотел поехать прямо в обком, но потом, поговорив с Инобат, решил, что правильное будет ехать к Умарову, как бы самому от себя, и тоже требовать немедленного освобождения ребят.

Камил жалел сейчас, что летом согласился замять дело с колосками. Камил решил, что даст бой Эртаеву, и с этим настроением приехал тогда в райком. Но за четверть часа до начала бюро Умаров вызвал Камилу и сказал, что вопрос о колосках будет рассматриваться несколько в иной форме, что Камилу не будет предъявлено никаких обвинений.

— А когда будут предъявлены? — спросил, не поняв, Камил.

Секретарь райкома мягко улыбнулся и, положив руку на плечо Камилу, сказал:

— Никогда... Вообще не будем об этом вспоминать. Конь о четырех ногах и тот спотыкается!..

— Значит, прав Эртаев? — спросил Камил.

Если бы секретарь сказал «да», Камил бы настоял, чтобы бюро обсуждало его персональное дело. Но Умаров ответил уклончиво:

— Я не сказал, что он прав... Не будем открывать здесь второй фронт. Идею с колосками можно повернуть на пользу государству — это же дополнительно сотни пудов зерна!

«Если бы я не смалодушничал тогда, возможно, сейчас не было бы нужды ехать в город», — думал Камил.

Он выехал на буланом иноходце Инобат. На холме Караул-тепа ему вспомнился теплый, звездный вечер, когда он усталый вернулся из города, а потом поехал в кишлак и здесь, не доезжая до вершины, встретил подростков, которые с ребяческой неуклюжестью выразили ему свою любовь и сочувствие. Камил, сам того не замечая, ударил камчой иноходца.

На фронте Камилу и в голову не приходило, что в тылу могут совершаться такие беззакония, как арест ни в чем не повинных ребят. Камилу казалось, что и на фронте и в тылу, стар и млад, мужчины и женщины живут одной мыслью — победить врага. Камил то мысленно доказывал преступность Эртаева всему бюро райкома, то ругал про себя Умарова, который замял назревавший летом скандал. Ветер обвевал разгоряченное скачкой лицо, ныла потревоженная толчками раненая рука.

Когда взмыленный конь влетел на пригородную ули-

цу, окутанную желтоватой осенней дымкой, кругом уже ложились вечерние тени. В здании райкома было безлюдно и тихо. Камил прошел по пустынным коридорам и вышел на крыльцо. Девушка-секретарша, сидевшая под тополями (когда Камил приехал, ее здесь не было), сказала, что все секретари уехали в область, а инструкторы еще не пришли с обеда.

— Можете денек-другой спокойно отдохнуть, Камилджан, — улыбнувшись, сказала она.

Ну что же, сама собой отпала одна инстанция, и можно было ехать прямо в обком. Камил отвязал коня и, ведя его в поводу, пошел по улице. Из-за угла выехал фазтон Эртаева. Эртаев, как всегда, сам правил лошадью с заднего сиденья. Он увидел Камила, остановился, даже вышел из фазтона, выбирая, куда бы ступить начищенным до блеска сапогом.

— Что невеселый, Камилджан? — спросил Эртаев, протягивая руку.

Камил машинально пожал ее и тут же выругал себя за малодушие.

— Веселого мало, если рядом с тобой подлецы ходят по земле, — сказал он.

— Ай, нехорошо! Подлецов надо разоблачать, — сказал Эртаев.

— Попробую. Жаль, секретарей нет...

— Да, с утра уехали в область... Если что срочное, скажите мне. Я завтра тоже еду в обком.

— Нет, Эртаев-ака. Вам я ничего не могу сказать. Вы как раз тот подлец, которого я решил разоблачить.

— Интересно, — сказал Эртаев. — Чем же я вызвал ваше неудовольствие, Камилджан? — Эртаев явно издевался.

Камил понимал, что лучше промолчать, не дать Эртаеву втянуть себя в спор, но молчать он не мог.

— Хотя бы тем, что покрываете воров, угодных вам, и арестовываете ни в чем не повинных ребят...

— При чем тут я, Камилджан? Их арестовали соответствующие органы. Или вы не доверяете нашим следственным органам?!

— Их арестовали не органы, а следователь, по вашему настоянию.

— Но это надо доказать, Камилджан!.. Короче, где ваши факты? Что вы можете конкретно предъявить мне в качестве обвинения?!

— Я... я с вами рядом по земле не могу ходить!..

— Я не возражаю, Камилджан! Ходите по небу. А мне и на нашей советской земле хорошо. Но берегитесь переходить мне дорогу. Растопчу и не посмотрю, что вы фронтовик. — Эртаев уже сидел в фэатоне. Он подобрал вожжи, хлестнул коня.

Камил зажмурился от пыли. Здоровая рука его растегиwała и снова застегивала пуговицы гимнастерки на груди, точно Камилу не хватало воздуха. Никогда он не чувствовал себя таким беспомощным. «Но почему? Зачем мне какие-то особые доказательства? Я просто передам весь наш разговор. Кто посмеет мне не поверить? Разве я кого-нибудь когда-нибудь обманул?» — подумал он и решил немедленно ехать в область. Вдохнув полной грудью свежий вечерний воздух, Камил протянул руку к седлу. В это время кто-то тронул его за плечо. Камил оглянулся. Рядом с ним топтался, скрипя протезом, военный комиссар Абубакиров. Узкие глаза его еще больше сузились от улыбки, на широком лице остро выступали скулы.

— Я тебе все утро звоню, Джалалов, а ты, оказывается, здесь. Послезавтра в ваш кишлак приезжает призывная комиссия. Надо подготовить призывников. Сделаешь?

— Надо сделать. Только я сегодня собрался в область. Не знаю, как управлюсь.

— Что за срочные дела в области? Может, мы их здесь решим?

— Да вот какое дело, товарищ капитан! Обижают у нас семьи фронтовиков...

— Как же это так? Это же как раз по моей части. А ну, пойдем, расскажешь!

Рывками переставляя протез, военком пошел через дорогу к военкомату.

Еще один человек остро чувствовал в эти дни свою беспомощность — Муяссар. Как и Машраб, она жила книжными идеалами, с наивной восторженностью мечтала быть похожей на любимых героев, как и они, совершать большие дела, быть верной в любви, дружбе, бороться с несправедливостью. И вот когда такая несправедливость была совершена на ее глазах, она не знала, что делать. Как комсорг школы, она готова была ехать в райком комсомола, добиваться освобождения Машраба. Но

она видела, что взрослые, уважаемые ею люди стараются из всех сил помочь ребятам, но почему-то не могут. И Муяссар боялась что-нибудь предпринять, чтобы не ухудшить положение Машраба и его друзей. Все дни, пока Машраб сидел под арестом, она не могла пить, есть, спать... Только работа немного отвлекала ее, но уборка хлопка подходила к концу, в третий раз прочесывали поле, добирая остатки коробочек.

С тяжелым чувством в душе шла Муяссар на рассвете в поле. Постояла над арыком за дувалом сада. Сейчас в арыке не было воды, дно его устилало желто-зеленые листья. А она видела другое: серебристые ветви джиды, склоненные к воде, плывущие по воде яблоки с вырезанными на них буквами. Яблоки кружили в заводях, застревали в ветвях, а она и Машраб ловили их и яблоки с инициалами парней, которые были им не по душе, съедали, поглядывая друг на друга, и хохотали. А яблоки плыли и плыли по арыку...

В поле Муяссар шла в междурядье, обирая с кустов хлопчатника остатки белых волокон, а мысли ее были совсем не здесь и, конечно, снова с Машрабом... На дворе воеет буря, дико гудят на ветру деревья, на оконном стекле тают снежинки, будто слезы текут... А они сидят за теплым сандалом — низеньким столиком, под которым в яме тлеют угли. Ноги их под сандалом соприкасаются будто невзначай и тотчас отстраняются. Полутемная комната, освещенная чадающей лампой, кажется им роскошной и веселой. Машраб читает «Как закалялась сталь», и они вместе с Павкой борются за советскую власть и все, что происходит с Павкой, переживают так, будто это происходит с ними...

Все это было тогда, а сейчас идет война, Машраб арестован и заперт в амбаре, стоит осень, и приближается зима.

Муяссар шла в междурядье, и слезы падали на ее мокрые руки.

Барно сбоку поглядывала на девушку. Обычно Барно выходила в поле после обеда, вместе с работниками сельпо, но сегодня ей не спалось, и она, прежде чем идти в правление, вышла в поле. Нет, Эртаев не охладил к ней, не бросил ее, как надоевшую любовницу. Наоборот, он все чаще говорит о том, что близок день, когда он сможет развестись с женой... А пока он снял в городе комнату, и они часто встречаются там. Но в его обращении с ней

появилась какая-то успокоенность. Успокоенность хозяйна. Как это не похоже было на нежную деликатность Ашрафджана, который с благодарностью принимал каждую ее ласку. Барно с ужасом думала, как посмотрит ему в глаза, если им еще доведется встретиться. Барно смотрела на Муяссар. С какой радостью обменяла бы она сейчас свое горе на ее...

— Муяссархон! — позвала Барно.

С соседней грядки оглянулась Лариса.

— Муяссархон! — снова позвала Барно, понизив голос. — Вы говорили с Гульчехрой?

— Нет, — ответила Муяссар и торопливо вытерла слезы.

— Тогда обязательно поговорите. Знающие люди утверждают, что, если Гульчехра будет отрицать похищение и скажет, что ее никто из ребят не уговаривал уйти из дома, мальчиков отпустят. Пусть только не ждет, когда ее вызовет следователь, а сама пойдет к нему.

Барно выпрямилась, грустно посмотрела на Ларису, потом на Муяссар, сказала:

— Я понимаю, вы меня презираете! Это ваше дело. Но вы должны мне верить. Обязательно поговорите с Гульчехрой. — Барно торопливо пошла, то там, то здесь обирая с кустов хлопок.

Муяссар растерянно смотрела ей вслед. Она не знала — поблагодарить ли Барно или промолчать?

— Правда, Муяссар, надо поговорить с Гульчехрой, — сказала Лариса. — От того, что ты гордо от нее отвернулась, ребятам не легче. Если хочешь, я пойду с тобой.

— Конечно, хочу. Скорей бы обед! Сама не пойму, почему я до сих пор с ней не поговорила? Она же комсомолка!..

Калитку открыла мать Гульчехры, болезненно-бледная женщина лет пятидесяти. Она сразу изменилась в лице и хотела закрыть калитку, но Лариса удержала калитку плечом.

— Гульчехра дома? — спросила Муяссар.

— Дома, — сказала женщина и, отодвинув рукой Ларису, закрыла калитку. Во дворе слышался хриплый кашель.

— Кто там? — спросил за калиткой мужчина, откашлявшись.

— Соседская девушка, — сказала мать Гульчехры и, приоткрыв калитку, добавила: — Подождите, сейчас позову.

Сказала она это вовремя, потому что Лариса уже приготовилась барабанить в калитку кулаком.

Гульчехра пришла спустя некоторое время, но вышла не из калитки, а из проулка — наверно, пролезла в дувал.

— Ой, наконец-то дождалась вас, подруженьки мои! — обрадованно сказала она, обнимая сначала Муяссар, потом Ларису.

Она была в новой косынке, в цветастом ситцевом платье, радостно улыбалась, словно ничего не произошло. Она только говорила шепотом, помпунтно оглядываясь на калитку. Муяссар больше всего возмутила эта улыбка и вороватая манера оглядываться.

— Что ты скалишь зубы? Почему делаешь вид, что не знаешь, что происходит? Ты разве не знаешь, что из-за тебя арестовали ребят?! — спросила Муяссар.

— Знаю...

— Если знаешь, так чего отсиживаешься взаперти?

Гульчехра отвернулась, играя кончиком косынки. Она совсем запуталась. После ареста ребят к ней снова приходил Ядгарбек и сказал, что не может без нее жить. Они целовались в вишневой роще, против пролома в дувале. В подтверждение своих слов Ядгарбек прислал на другой день еще один сундук нарядов. Против такой щедрости Гульчехра не смогла устоять и дала согласие на свадьбу. При всем своем легкомыслии, Гульчехра понимала, что не должна говорить об этом Муяссар.

— Ну, что ты молчишь! Язык проглотила? — говорила Муяссар.

— Что я могу сказать? Я же не знаю, что мне делать!

— Еще говорит, что ей делать! Комсомолкой называется. Иди к следователю и расскажи, как все было... Ребята из-за тебя пострадали. — Муяссар вдруг всхлинула, не в силах удержать слез.

Гульчехра тоже заплакала:

— Легко тебе говорить! У тебя отец старый коммунист. Если бы он был такой же несознательный и такой больной, как мой, — посмотрела бы я, как бы ты поступила!

Муяссар растерялась, а Гульчехра еще больше расплакалась. Муяссар, сдерживая слезы, стояла, не зная, что делать. Зато Лариса знала.

— Вот что, — сказала она. — Москва слезам не верит. И отец твой здесь ни при чем. С собой распорядись как хочешь, а мальчиков надо выручать!

Гульчехра перестала плакать.

— Хорошо,— сказала она.— Я пойду к следователю. Только вы тоже пойдете со мной.

Они втроем пришли в правление, но сторож сказал, что следователь уехал в город. Муяссар снова загрустила, а Гульчехра, обрадованная, ушла домой.

— Имей в виду, завтра за тобой зайдём! — крикнула ей вслед Лариса.

Так прошли те два дня, которые казались ребятам такими томительными. Слово их все забыли и они уже никому не нужны.

На третий день их снова вызвал следователь.

Он сидел в кабинете Чавандаза. Несколько дней назад такой веселый и внешне приветливый, он сейчас выглядел строгим и недоступным. Даже брови его, похожие на усы, нависли над глазами сурово и неумолимо. Следователь переложил на столе папку с их делом, сказал:

— На фронте и в тылу не хватает людей, а вы, здоровые парни, прохлаждаетесь в амбаре. Я советовался с товарищем прокурором, и мы решили, учитывая вашу молодость, а также просьбу руководителей колхоза, освободить вас из-под стражи.— Следователь, через стол поглядывая на них, сказал после паузы: — Пока...

Машраб быстро переглянулся с Акмалем и Кучкаром. Кучкар с интересом смотрел на следователя.

— Пока или навсегда, следователь-ака?

— Это будет зависеть от вас, дорогой,— сказал следователь и погладил сизую от бритья голову.

— Что значит — от нас? — спросил Машраб.

— Это значит не развратничать — раз, не кляузничать на достойных людей — два, идти своей дорогой и не путаться под ногами — три.

Теперь Кучкар переглянулся с Акмалем и Машрабом.

— Короче говоря, увидишь вора — отойди в сторонку, не мешай человеку. Узнаешь о несправедливости большого человека — держи язык за зубами. Так, что ли, следователь-ака?!

— Мое дело посоветовать, ваше — послушаться или нет. У нашего русского брата есть пословица: много будешь знать — скоро состаришься. Зачем вам спешить?

Кучкар хотел еще что-то сказать, но следователь пальцем указал на дверь:

— Иди, дорогой, иди и много не мудрствуй!.. Скажите спасибо, что вас освободили.

Ребята и не думали говорить «спасибо». Когда они вышли, Кучкар сказал:

— Сам скажи спасибо, что цел остался.

— Я думаю, он просто не знал, как от нас избавиться,— добавил Машраб.

Они вышли за ворота правления, поглядели друг на друга и расхохотались. Ребята были очень довольны собой. Их переполняло чувство победы. Прежде всего они отправились к Махире-буви, досыта поели похлебки из очищенной джугары с кукурузными лепешками, снисходительно посмеиваясь над ее причитаниями и слезами радости. Потом посидели у Акмаля, пережидая, пока тетюшка Салия выплачется и придет в себя. По дороге в поле забежали к Фатиме. Пока Кучкар разговаривал с матерью, Машраб и Акмаль бесцеремонно разгуливали по двору.

Им доставило большое удовольствие пройти по улицам кишлака. На них глазели, как на выходцев с того света. Многие женщины даже вытирали слезы. Ларисы и Муяссар в поле уже не было. Гульсум-апа сказала:

— Бегите, бегите в кишлак... Они, наверно, там вас ищут...

Оказывается, весть о том, что их освободили, уже дошла до бригады в поле. Принес ее все тот же Информбюро, за что получил тюбетейку сушеного урюка.

— За приятную новость приятно получить благодарности,— сказал Информбюро и побежал разыскивать ребят.

Он нашел их в кишлаке у клуба.

— Ларисахов получила телеграмму от отца,— сказал он.

Но на этот раз вместо награды он получил щелчок по лбу от Кучкара. Потирая лоб, паренек смотрел, как ребята побежали по улице.

Остаток дня Машраб с приятелями и Лариса с Муяссар гонялись друг за другом. Это потому, что ни у кого не было терпения посидеть на одном месте и подождать. У дома Муяссар ребятам говорили, что она и Лариса побежали к Махире-буви. Мальчики бежали к Махире-буви и узнавали, что подружкам сказали, что видели Машраба возле клуба, и они бежали туда. Это была веселая суматоха, которая завершилась встречей в овраге. Муяссар и Лариса были в белых платьях. Машраб ломал голову, пытаясь понять, когда они успели их надеть. Лариса по-



казывала телеграмму от отца. Ребята никогда не видели ее такой возбужденной и веселой. Она то без всякой видимой причины начинала смеяться, то вдруг принялась выбивать чечетку на деревянном мосту. Муяссар смеялась. Она не стеснялась, когда Машраб брал ее руку и держал на виду у всех. Потом Лариса стала строить планы поездки к отцу в Магнитогорск и этим привела в уныние Кучкара. Об Акмале как-то забыли. Он или молчал, или понуро плелся сзади, пока они его совсем не потеряли. Первым спохватился Машраб.

— Акмаль! — позвал он.

Все притихли, а потом крикнули хором:

— Акмаль!

Слышно было, как шумела под плотинной вода, где-то залаяла собака.

— Нехорошо получилось, — сказал Машраб.

— Я где-то читала: все счастливые люди немного эгоисты. Значит, мы счастливые?! — спросила Лариса.

Все засмеялись. Но каково остаться одному, Машраб понял только на другой день.

Когда Кучкар и Машраб пришли домой (Кучкар пошел ночевать к Машрабу), Гульсум-апа сказала, что приходил Акмаль. Оказывается, ему и Кучкару пришли повестки явиться завтра в клуб на призывную комиссию. Фатима попросила Акмаля найти сына.

На другой день по улицам кишлака потянулись к клубу парни, которым в этом году исполнилось или исполнялось восемнадцать лет.

Машраб решил в этот день не выходить на улицу, но потом не выдержал и пошел в клуб.

На лужайке толпились группами те, кто уже прошел медицинскую комиссию и кто ждал очереди. Парни говорили о том, кого в какой род войск зачислят, когда возможна отправка. С Машрабом заговаривали, здоровались, но как-то мимоходом, как с человеком, не посвященным в таинства призыва. Машраб подошел к Кучкару и Акмалю. Те вроде бы обрадовались, увидев его, но тут же про него забыли. Какой-то парень доказывал Акмалю, что людей с его весом не берут в кавалерию. Машраб вдруг представил себя в кишлаке после того, как Акмаль и Кучкар уедут на фронт. Это уже было слишком. Машраб увидел военного комиссара Абубакирова. Тот шел через лужайку, толчками переставляя протез. Машраб не помнил, как очутился перед ним, как заговорил.

— Ну, джигит! О чем ты хочешь просить? — сказал капитан.

Кучкар потом рассказывал, как Машраб догнал его и закричал тонким голосом:

— Товарищ капитан, если можно, выслушайте меня!..

А может быть, Кучкар это придумал, и Машраб на самом деле заговорил с капитаном в обычном тоне — подтвердить или опровергнуть эту версию не мог никто, так как ребята обступили Машраба и капитана, когда те уже разговаривали.

— Хочу заявить, что я, в общем, одноклассник всем этим ребятам. Просто по книгам записали неправильно, на год омолодили. Можно мне пройти комиссию? — говорил Машраб.

— Но как можно установить, что ты им ровесник? — спросил капитан.

Машраб затравленно оглянулся, увидел ехидно улыбающегося Кучкара и выпалил:

— Пусть меня накажет аллах, если я вру.

Машраб чуть не оглох от взрыва хохота. Хохотали все, в том числе Абубакиров.

— Веское доказательство, придется поверить. Откуда ты такой взялся? Чей сын? Как имя, фамилия?

— Имя Машраб. Сын Агзама Ячейки, — сказал Машраб.

Кто-то тут же добавил:

— Машраб Дивана!

— Э-э, это тот Машраб Дивана, который ищет правды? Молодец, джигит! Иди на комиссию, врачи решат.

Машраб поднимался на крыльцо с замиранием сердца. Во время разговора с капитаном он вообразил, что все решит военком сам, единолично. А теперь все зависело от комиссии. Опасения оказались напрасными. Ни один врач даже не спросил, сколько ему лет. Один измерил рост, другой что-то послушал, приложив к груди трубку, третий заставил читать буквы на стене, закрывая Машрабу то один, то другой глаз. Вся процедура заняла пять-шесть минут. А потом началось такое, что Машрабу даже не снилось. Когда он вышел на крыльцо, Абубакиров скомандовал:

— Смирно!

На широкой площади перед крыльцом замерли в строю призывники.

— Машраб, сын Агзама, ко мне! — скомандовал капитан.

Машраб, ничего не понимая и на всякий случай улыбаясь во весь рот, подошел. Капитан вывел из строя Ядгарбека и поставил его рядом с Машрабом.

— Посмотрите на этих двух парней, — сказал капитан. — Один, вот этот, — искатель правды, гордо заявляет, что ему уже восемнадцать лет! А на этом жеребце пахать можно, а он льет слезы и говорит, что ему нет еще шестнадцати!

В строю засмеялись, кто-то крикнул:

— Он уже жениться собрался!

— Ему шестнадцать лет три года назад было!

Капитан повернулся к Ядгарбеку.

— Не стыдно? — спросил он. — Женись, как жене в глаза смотреть будешь, младенец?

В строю снова захохотали, а капитан вдруг крикнул на всю площадь:

— А ну, марш на комиссию!..

Ядгарбек побежал через лужайку к крыльцу, споткнулся о первую ступеньку и весь путь до дверей проделал при помощи рук, а парни в строю умирали от хохота.

После комиссии пошли грузить на арбы последние мешки хлопка. Машраб вернулся домой вечером, еще не утратив радостного возбуждения. На широкой тахте в первой комнате сидела Мастура, а на руках у нее пристроились Фатима и Зухра. Мастура встала, посадив детей на тахту. Глаза ее сверкнули. Машрабу стало страшно от ненависти, которая была в глазах сестры.

— Ты... в своем ли ты уме? Почему ты живешь на небе, а не на земле?! Мало в семье у нас горя?! Негодяй, дурак! — Губы Мастуры тряслись. — Иди, взгляни на маму!

Машраб открыл дверь в комнату матери. Гульсум-апа сидела на кровати против двери, положив руки на колени, и глядела так, словно ждала Машраба. Конечно, Мастура преувеличивала. Гульсум-апа была, как и всегда, задумчивая и сдержанная. Но неужели она и раньше была такой маленькой, сторбленной? Платок упал на ее узенькие, опущенные плечи, открыв седые волосы. Машраб не помнил, видел ли он раньше у матери так много морщин на лбу и в углах рта?..

— Мама, милая, — сказал Машраб, — прости меня, но я не мог!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Странно устроена жизнь: если человек раз споткнулся, то невезенье следует одно за другим, а если пришла удача, то обязательно ведет за собой другую... Отец Ларисы прислал письмо, что если им хорошо, то пусть пока не трогаются с места. Кучкар ног под собой не чувял от радости. О свадьбе Гульчехры тоже ничего не было слышно. После своего позора Ядгарбек нигде не показывался. Чавандаз при встречах косплся на ребят, но ничем иным не проявлял своей ненависти. А Гульчехра даже стала вновь появляться с Ларисой и Муяссар, когда те приходили в овраг.

Наступил конец октября. Казалось, ничто не омрачало жизнь кпшлака. Наоборот, стали поступать сообщения о том, что Красная Армия одна за другой освобождала города, одерживая победы над фашистами. Матери стали надеяться, что к тому времени, когда настанет очередь сыновей, война окончится. А на тех, кто воевал, вот уже месяц как не было ни одной похоронной.

На школьной сцене Машраб репетировал к Октябрьским праздникам третье действие пьесы «Смерть захватчикам».

На одну из репетиций пришел Камил. Он вошел в зал, с минуту постоял, глядя на сцену, пока его не заметили. Машраб подошел к нему со стулом, сказал:

— Садитесь, Камил-ака!

— Некогда сидеть, Машраб. Дело есть...

Оказывается, нечем было завершить сев озимых: кончились семена. Чтобы не сорвать сев, пришлось снова собрать караван ишаков и мобилизовать всех ребят.

На рассвете по-осеннему яркого дня караван вышел в далекий путь.

Кпшлак остался позади, и караван растянулся по дороге.

По сути, это был тот же караван, который летом перевозил зерно. Только на этот раз ишаки были отборные, примерно одинаковой силы. Камил и Курбан-ата сами отбирали их, безжалостно выбраковывая всех, кто, по их мнению, не мог пройти тяжелый путь.

Впереди каравана на буланом иноходце ехал Камил, и рядом с ним, в неизменной фуражке и с кожаной сумкой через плечо, гордо восседал на своем ишаке с обрезанны-

ми ушами Курбан-ата. Замыкающими Камил назначил Машраба и Акмаля. Сотня ишаков растянулась по дороге чуть ли не на километр. Дорога шла вдоль горной цепи, по холмам, черным, как опаленные бараньи головы. Солнце только-только взошло, и над холмами до самого подножия гор дрожало теплое море.

Дорога волновала, как всегда волнует неведомое. Большинство ребят никогда не выезжало дальше районного центра, а были и такие, кто, кроме кишлака, вообще нигде не бывал. Они ехали, покачиваясь в седлах, с приятным сознанием, что в хурджунах у каждого по шесть лепешек, выданных колхозом, два фунта курта, не считая сушеного урюка, жареного ячменя, самсы с тыквой, уложенных заботливыми материнскими руками.

Камил объехал весь караван, оглядывая ребят и предупреждая, чтобы они бережно расходовали продукты. Напрасный труд. Большинство уже сейчас ехало, заложив за одну щеку сушеный урюк, за другую курт и при этом сияя от удовольствия.

Камил сказал Машрабу:

— Приглядывайте за этими цыплятам, особенно когда въедем в горы.

Он пришпорил иноходца и вернулся в голову каравана.

На заседании бюро райкома, на котором обсуждался сев озимых, Камил попробовал схватиться с Эртаевым и потерпел поражение.

Эртаев, как временно исполняющий обязанности председателя райисполкома (ходили слухи, что постоянным председателем его не утвердил обком), докладывал ход посевной по району. Оказалось, что колхоз «Путь Ленина» был на одном из последних мест. Эртаев не удержался, чтобы не сказать:

— Очевидно, после успешной сдачи хлеба государству у руководителей колхоза закружилась голова.

Камил видел, как сжала руки Инобат.

— Вы сорвали нам сев, и вы же нас упрекаете! — с места выкрикнул он.

Эртаев помолчал, сдерживаясь, потом сказал:

— Я не понимаю враждебного выкрика Джалалова. Я вообще вас не понимаю, Камил. Если вы имеете ко мне какие-то претензии, то выскажите их прямо...

Камил понимал, что Эртаев провоцирует его, что надо промолчать, но не смог.

— Да, я имею к вам претензии! Вы вынудили сдать нас семенное зерно в счет дополнительных поставок, а теперь хотите уйти от ответственности?! — Камил вскочил и стоял, пытаясь справиться с волнением.

Эртаев картинно развел руками, как бы призывая всех в свидетели.

— Моя озабоченность тем, чтобы государство получило больше хлеба, вменяется мне как преступление, — сказал он.

Камил хотел возразить, но Умаров нетерпеливо постучал ладонью о стол, сказал:

— Сейчас не время, товарищ Джалалов, искать виновников. Надо думать, как выйти из положения...

...Камилу было невесело. Пожалуй, он один хорошо понимал, как нелегко будет выполнить возложенную на караван задачу. Дорога давно повернула вправо, в горы. Голова каравана достигла высокого каменистого гребня. Внизу открылось желто-зеленое пастбище, белые юрты, похожие на пиалы, опрокинутые вверх дном. Камил остановил головных ишаков, чтобы подтянуть караван.

Курбан-ата, привстав на стременах, громко сказал:

— Вон в том ущелье был тяжелый бой с басмачами. Немало осталось там мопл. Прошу снять шапки, товарищи!

Он стоял на стременах, держа руку под козырек.

— Вольно! — скомандовал он и сел в седло, но тут же снова привстал: — Между прочим, отцы этих джигитов, — он указал на Кучкара и подъехавшего Машраба, — тоже были в этих боях.

— Поэтому встать и снять шапки! — крикнул Кучкар.

Курбан-ата не услышал его, опустил голову, о чем-то задумавшись. Кучкар, посмеиваясь, тронул своего ишака.

Старики из аула стояли, опираясь на длинные палки. Они поджидали караван на берегу горной реки, молчаливые и торжественные. Двое стариков, отделившись от остальных, пошли навстречу каравану.

— Салам, Курбан! Давно не виделись, да храпит тебя аллах! — сказал один.

— Пусть продлит аллах годы твои, — добавил другой.

Они помогли Курбану-ата спешиться, поддерживая его под руки.

Женщины из аула принесли в тыквах кислое молоко, курт.

Кучкар сказал:

— Похоже, нашего старика здесь хорошо знают...

Курбан-ата, прохаживаясь, разминая затекшие ноги, говорил:

— Не забывает казах тех, кто делал революцию. Помнит народ добро. А вы кушайте, кушайте — впереди трудный путь...

С привала Курбан-ата поехал вперед — приготовить ночлег. Ребята отяжелели после еды и дремали в седлах.

Солнце клонилось к вершине перевала Рустам-Давап, когда стали попадаться на пути стада баранов. Женщины-пастухи в высоких головных уборах неподвижно сидели на низкорослых лошадках, провожая глазами караван. Потом показались юрты, над которыми из отверстий валил дым, двory аула. Караван остановился, ишаки сблизь в кучу. Машраб и Акмаль выехали вперед. На дороге Курбан-ата и старик казах о чем-то говорили с Камилом. Курбан-ата привстал на стремянах, сказал:

— Заночуем в этом ауле, дети мои! Завтра нам предстоит пройти Яманташ — это значит плохой камень! Вы слышали, что такое Яманташ? — Курбан-ата выкрикивал слова так, как будто говорил речь.

Большинство не знало и никогда не слышало про это гибельное место, в котором нашло себе могилу немало путников, но на всякий случай хором ответили:

— Знаем, отец! Слышали!

— Если слышали, то накормите досыта своих ишаков и сами хорошенько отдохните.

Тем временем из аула набегали огромные волкодавы. Они ходили вокруг ишаков, скалили зубы, а те прижимали уши, лягались, к полному удовольствию прибежавших ребятшек, крикливых и назойливых. Потом пришли старухи с белыми высокими накидками на головах, молодые женщины и девушки с серебряными украшениями в косах. Старик, который молча стоял рядом с Курбаном-ата, пока тот произносил свою речь, что-то сказал женщинам, и те, подгоняя ребятшек, пошли по дороге в аул. Караван тронулся вслед за ними.

В ауле ребят развели по домам. Машрабу, Акмалю и Кучкару достался маленький домик на окраине. Они стреножили своих ишаков и пустили их пастись, а сами вошли во двор, за оградой которого слышался топот телят и голос молодой женщины:

— Перестать брыкаться, шайтан!

Кучкар подмигнул друзьям и первый вошел в калитку. У самого входа тоненькая молодая женщина, больше похожая на девочку-подростка, в красном платье с пуговицами из монет, сдерживала рвущегося к короле телянка. Второй телянок стоял привязанный под навесом и смотрел грустными, блестящими глазами на своего дружка, который то и дело вырывался из рук женщины. Она каждый раз бежала за ним, и тяжелая коса ее билась по спине, а чулпы нежно позванивали. Кучкар молча взял из ее рук аркан, поймал телянка и привязал под навесом рядом с другим.

Женщина, наверно, знала о появлении в ауле неожиданных гостей, потому что улыбнулась Кучкару без всякого удивления.

— Спасибо, добрый джигит, — сказала она.

Улыбка женщины, ее кругленькое личико, к которому очень подходили раскосые глаза и маленький нос, очаровали ребят. Женщина, очевидно, поняла, какое впечатление на них произвела. Она засмеялась, повела всех троих в дом. Посмеиваясь и поглядывая на троих друзей, словно изучая, она хлопотала вокруг очага: разожгла огонь, вскипятила молоко и пригласила пить чай.

Чай по-казахски оказался легкой закуской из свежего и кислого молока и курта. Кучкар блаженствовал. Машраб и Акмаль тоже чувствовали себя неплохо. То ли оттого, что ребята проголодались, а скорей всего потому, что нехитрая закуска была приготовлена маленькими проворными руками, все казалось очень вкусным.

— Даже в раю такого не бывает, — говорил Кучкар.

— Конечно, ты же только вчера там был, — сказал Машраб.

Женщина порозовела от удовольствия и еще больше хорошела.

Потом появились старуха с девочкой, наверное свекровь с дочкой женщины, потому что девочка тут же подошла к ней и уцепилась за подол платья, положив в рот пальчик. Старуха прижалась стелить постели, искоса ревниво поглядывая на невестку.

Машраб вышел во двор. Было уже темно, как в опрокинутом казане, в котором варят плов. Только в небе сверкали странно белые звезды, похожие на крупные яблоки, рассыпанные на черном бархате. Когда глаза немного привыкли к темноте, Машраб вышел за калитку. Со всем близко проступали черные очертания горных вершин.



Они стыли в безмолвии, как вечные стражи этих мест. Где-то близко шумела быстрая горная речка, слышно было, как ишаки с хрустом жевали полынь. «Кто только не проходил по этим дорогам, горам и долинам за все время, пока существует земля!» — подумал Машраб. Он нащупал в темноте камень и присел на берегу, пытаясь представить родной кишлак. Что сейчас делали Муяссар, мама, сестра, Махира-буви — все те близкие люди, без которых Машраб не мог жить? А как он будет без них и они без него, когда он уедет на фронт?

Ниже того места, на котором сидел Машраб, по берегу прошел Камил. Машраб услышал его голос.

— Загошите ишаков во дворы. Говорят, в горах появилось много волков. Предупредите всех, — кому-то говорил он.

Через некоторое время слышались топот ног, гиканье парней, загоняющих ишаков, лай потревоженных собак.

Машраб отыскал своих ишаков и повел во двор, обмотав за шею веревкой. За оградой Кучкар разговаривал с молодой хозяйкой:

— Эй, отпусти, узбек! Думаешь, только тебя тут и ждали...

Но Кучкар, наверно, не отпускал женщину.

— Послушай, Гульджамал! Какая разница — твое, мое? Дай поцелую разок! — говорил он.

Машраб парочно громко загремел калиткой, заводя ишаков. Он вошел в дом и ощупью добрался до своей постели: ориентиром ему служил могучий храп Акмаля. Машраб лег рядом. Почти тут же со двора вошел Кучкар.

— Зачем пригнал ишаков? — спросил он.

— Спасал их от волков. Оказывается, ты хуже волка!

— Э-э, Дивана, что ты понимаешь? Надо же кому-то проверить, хранят ли женщины-казашки верность своим мужьям?

— Проверил?

— В этом доме все в порядке! Если у меня ничего не получилось, ни у кого не получится. — Кучкар повернулся на бок, подвинул плечом Акмаля и тут же безмятежно заснул.

Затемно Камил и Курбан-ата обошли аул, подымая ребятам. В путь караван вышел на рассвете и к восходу солнца вошел в ущелье Яманташ. Даже в ясный солнечный день ущелье выглядело сырым и мрачным, как подземелье. Высоко, так высоко, что приходилось запрокидывать голову,

сияла полоска голубого неба. Где-то там наверху, за нависающей стеной скал, был теплый погожий день, а здесь, в ущелье, знобкий холод пробирался под халаты, студил промокшие ноги.

К полудню, одиннадцать раз перейдя вброд горную речку, караван вышел из ущелья и стал подниматься к перевалу. На солнце все быстро обсохли и обогрелись, поднялись на перевал Рустам-Даван и вместе с солнцем спустились в казахские степи. Быстро вечерело, но на этот раз все опасности были позади.

Выезжая из кишлака, рассчитывали через три-четыре дня вернуться. Но даже такой опытный караван-башки, как Курбан-ата, просчитался. Как говорится, домашние расчеты не подошли к базару. Это стало ясно, как только приехали в аул, где должны были получить зерно. Председатель колхоза опешил от неожиданности, когда Камил и Курбан-ата пришли к нему. Зерно в колхозе было, — куда его вывезешь? — но распоряжения отдать его у председателя не было.

На другой день он вместе с Камилем и Курбаном-ата поехал в район. В районе выяснилось, что неправильно оформлены накладные на получение зерна: в накладных было сказано, что колхоз «Путь Ленина» должен получить семена, а казахский колхоз должен был сдавать госпоставки товарным хлебом. С этого дня председатель колхоза, Камил и Курбан-ата потеряли покой. Председатель колхоза готов был отдать зерно, чтобы не числиться в должниках, но отдать его без прямого приказа начальства не решался. Камил и Курбан-ата ездили то в район, то в область, давали телеграммы, звонили по телефонам, а время шло и зима приближалась. Правда, дни стояли такие жаркие, что просто не верилось в скорый приход зимы.

Гости в казахских аулах всегда желанны. Иначе ребятам пришлось бы туго. Давно было съедено все, что взяли из дома. Перешли на иждивение хозяев. Жили по двое, по трое в доме, питаясь вместе с приютившей их семьей. Днем пасли ишаков в зарослях камышей, рано ложились спать и уже опухли от безделья. Потом придумали состязаться в борьбе, устраивали на отъевшихся ишаках улаки. Но все равно было скучно.

Камил не хотел посвящать ребят в подробности бюрократической волокиты и на вопрос: «Когда поедем домой?» — отвечал:

— Не спешите, дорога трудная. Кормите ишаков!

И ребята кормили...

Как-то под вечер около Машраба остановился знакомый парень-казах. В руке — палка, на плече — домбра. Он сдвинул на затылок войлочную шляпу, с минуту смотрел, как Акмаль и Кучкар боролись на полынном лугу.

— Эй, узбеки! Не надоело безделье? — спросил Калбек и поправил на плече домбру.

Кучкар тотчас отпустил Акмаля, а тот, не поняв, в чем дело, положил его на лопатки и сам лег сверху.

— Какое ты можешь предложить дело, казах? — заинтересованно спросил Кучкар. — Да отпусти, толстяк, дай с человеком поговорить! — заорал он.

— Я слышал, у вас есть прославленный поэт. У нас тоже кое-кто слагает стихи. Посоревнуемся?

— Поэты есть, а кто их слушать будет? Стихи нашего поэта предназначены только для нежного слуха красавиц, — заявил Кучкар. Он уже отошел от Акмаля и сидел на полынной земле.

— Будут красавицы! — сказал Калбек.

— А где ты их возьмешь, если в вашем ауле ничего нет, кроме овец?

— Где твои глаза, узбек! Сколько дней живешь в ауле, а не видел красавиц? Принимайте вызов, мы вам их сегодня покажем.

Машраб стоял красный, не зная, куда деть руки от волнения. Вызов за него принял Кучкар.

— До вечера, — сказал Калбек и ушел.

Машраб накинулся на Кучкара:

— Ты с ума сошел! А если я провалюсь и стану посмешищем?

— Какой же ты поэт? Ради красавиц можно стать посмешищем, — авторитетно заявил Кучкар.

Машраб в ужасе провел остаток дня, ожидая вечера. Узбеки не знали, что председатель казахского колхоза надоумил свою молодежь развлечь гостей. На этот вечер из колхозной кладовой были выданы продукты для угощения. Если бы Машраб знал еще и это, он бы наверняка куда-нибудь сбежал.

В сумерках во двор пришел, наигрывая на домбре и тихо подпевая, Калбек. Он был в красных сапогах с высокими каблуками и в новом халате.

— Придумали хорошие песни, узбеки? — Он хитро прищурил глаза. — Если придумали, пошли. А там положишь, поэт, на свое счастье, — сказал он Машрабу.

В маленьких окошках приземистых домов мерцали огоньки коптилок. Во дворах давно умолк дневной шум. Дворы были раскинуты далеко друг от друга, и поэтому над аулом стояла степная тишина. Степь была рядом, по-ночному таинственная и глухая. Стоило потерять тропку, и можно было идти и идти, и конца не будет этой степи. Но Калбек шел уверенно. Иногда взлапывал волкодав и тут же умолкал, узнав Калбека. Он остановился у калитки крайнего дома.

Во дворе пылал в очаге огонь, виднелась открытая дверь низенького домика. В дверь входили и выходили, бродили по двору какие-то женщины. Стояло несколько парней.

— Джигиты, узбеки пришли. Принимай гостей, Янгаджон, — сказал Калбек от калитки.

В колеблющемся свете очага к калитке подошла, звяпя чулпамп, рослая женщина с закрытым платком ртом.

— Добро пожаловать, джигиты, — сказала она, очень мило коверкая узбекские слова.

Машраб и все, кто пришел с ним, протиснулись в узенькую дверь. В темную переднюю открылась и тут же закрылась дверь, и из нее на мгновение выглянули чуть затемненные и от этого особенно красивые и таинственные лица девушек. За закрывшейся дверью послышался сдавленный смех.

— Э-э... не сюда, — сказал Калбек и открыл дверь в комнату направо.

— Жалко, что не туда, — сказал Кучкар.

— Потерпи, узбек! Всею свое время...

Комната была низенькая, но широкая, в трех местах горели светильники. Не только сюзане и ковры, развешанные на стенах, но и тюфяки в тахмане — иппе в стене — и разостланные на полу кошмы и паласы — все было ярко-красного цвета. Поэтому комната, освещенная колеблющимся светом, полыхала красными отблесками.

Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге остановился худющий одноногий парень на костылях, в военной гимнастерке.

— Ассалам алейкум, гости! — Парень переставил вперед костыли и одним рывком оказался на середине комнаты. — Как дела? — спросил он, присаживаясь боком на курпачу. Он взял у Калбека домбру, не дожидаясь ответа, стал ее тихонько пастраивать. — Скажи-ка Янге, джигит,

пусть ведет своих красавиц, узбеки соскучились в ожидании,— сказал одноногий Калбеку.

В это время снова раскрылась дверь. Янга, а за ней девушки внесли подносы, уставленные угощениями. Они расстелили дастарханы перед гостями и, совсем как узбечки, стояли, посмеиваясь и смущаясь, подталкивая друг друга. Почти все были одинаково одеты: на ногах красные сапожки на высоком каблуке, на голове красный цветастый платок, поверх красного шелкового платья бархатный жилет, суженный в талии, а на жилете в два ряда серебряные монеты, наполнявшие комнату звоном при каждом движении девушек.

— Эй, подружки! Можно подумать, что не вы так нетерпеливо ждали встречи с парнями... А вы, пареньки? Если у вас сердца джигитов, докажите это своей любезностью, выбирайте себе подруг! — сказала Янга.

Кучкар тут же схватил ее за руку.

— Я уже выбрал,— сказал он.

Все засмеялись, расселись на одеялах, потянулись за угощениями. Рядом с Машрабом оказалась тоненькая девушка с такой узенькой, обтянутой жилетом талией, что казалось, ее можно обхватить пальцами одной руки. Девушку звали Сулусач. Она сама назвала свое имя и тут же спросила, как зовут Машраба.

Выпили по пиале чая. Одноногий сказал:

— Убирай дастархан, сестра! Все равно барашка не подашь.

— Если бы он был! — сказала Янга и засмеялась.— Потерпи. Когда вернется твой деверь, я, так и быть, дам тебе баранью голову, братишка.

— Не горюй, вернется! Тогда я тебе напомним твоё обещание, сестра. Ну-ка, запоем для начала «Кара-тургай».

— Опять «Кара-тургай»? — недовольно сказала Сулусач.— Не надоела вам эта песня?

Одноногий прижал ладонью струны домбры, сказал:

— Милая моя красавица! Побывала бы вдали от родных мест, знала бы цену этой песне. На войне, в окопах, мы мечтали вернуться домой живыми и хоть разок послушать «Кара-тургай», а там и умереть не страшно. Если бы ты знала, сколько парней погибло, мечтая перед смертью увидеть красавицу вроде тебя и услышать «Кара-тургай», курносая моя Сулусач!

Одноногий громко заиграл на домбре. У него были тонкие, словно у девушки, пальцы.

— Садись рядом, Калбек! Начинай...

Машраб полулежал возле Сулусач. Ему казалось, что он попал в какой-то печальный и светлый мир. Но когда он вспомнил, зачем сюда пришел, он сразу приходил в себя, и его обдавало жаром. От этого и потому еще, что понимал не все слова, Машраб уловил только общий смысл песни. Когда он потом пытался припомнить песню, он видел одноногого парня, лежащего ничком, в темной осенней степи, гладившего тонкими, как у девушки, пальцами полынь и жесткую траву, целующего горько-солонатоватую землю, выбитую копытами и исхоженную ногами предков. В тот вечер Машраб понял: каждая земля имеет свою прелесть, свои песни, своих красавиц для тех, кто учился по ней ходить...

Одноногий прикрыл струны рукой.

— Хватит! Давайте начинать «айтыс»,— сказала Сулусач.

— Ну что же, давайте,— согласился одноногий.— Может быть, гости начнут первыми?

Кучкар толкнул в бок Машраба. Но тот сидел красный и пришибленный, в ужасе от того, что не может придумать ни одного слова.

— Почему гости? — спросила Янга.— Мы пригласили, мы начнем.

Молоденький парень, точь-в-точь стригунок,  
и весел, и строен, а все однок.  
Хоть песен не знает, не носит домбры,  
ему улыбнитесь, уж будьте добры!

Янга замолчала, улыбнулась Машрабу. Он лихорадочно припоминал хоть какие-нибудь стихи. Но его опередила Сулусач:

Каких, не краснея, похвал наплела!  
За что это парню такая хвала?  
Уж лучше Калбек паш, хотя и курнос!  
А парень без песни — арба без колес...

— Зульфья. «Разлука»,— сказал Машраб и сам не узнал собственного голоса.

Кусты и деревья с пожухлой листвой  
глядели, и ветви — как руки.  
Мой милый, любимый отправился в бой,  
и на сердце — холод разлуки.  
Но в бой призывает Отчизна сама!  
Отложим все пежные речи...  
Ведь так же, как сменится летом зима,  
придут за разлукою встречи.

— Молодец, Машраб Дивана! — закричал Кучкар. Но восхищался он один, остальные молчали.

Было так тихо, что все услышали шаги в коридоре. Дверь открылась. На пороге стоял Камил. Он, очевидно, решил, что тишина вызвана его появлением, сказал:

— Прошу прощения, но вынужден вам помешать. На рассвете выступаем, а сейчас надо срочно получать и грузить зерно.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

При свете факелов проработали почти всю ночь. Зерно — всего семь тонн — насыпали в мешки и складывали их у дороги. Тот, кто насыпал свой мешок, уходил, чтобы успеть собраться в дорогу и хоть немного поспать. Последние мешки досыпали в полночь. Пошел дождь, и сразу резко похолодало. Камил ушел с зерносклада последним, бережно поддерживая ноющую руку. Он пожалел сейчас, что не послушал врачей и не согласился на ампутацию. Рука только мешала, напоминая о себе тупой, ноющей болью. Когда Камил добрался до двора, в котором остановился с Курбаном-ата, дождь перешел в снег и стало морозить.

Камилу казалось, что он только задремал, когда его разбудил Курбан-ата, но за окном уже стоял ясный морозный рассвет. Курбан-ата в толстом халате, с кожаной сумкой на боку, в фуражке, надвинутой до бровей, уже совсем был готов в дорогу.

— Разбудил трех джигитов, велел собирать караван. Надо до полудня успеть добраться до Яманташа, — сказал он.

— Как будто прояснилось? — спросил Камил.

— Проясниться прояснилось, но мороз как кинжал. Береги руку, сынок!

Невыспавшиеся ребята подводили к дороге ишаков, седлали, грузили мешки. Камил нервничал, торопил. Ему казалось, что сонные погонщики очень долго возятся с седлами. От резкого ветра слезились глаза, под ногами поскрипывал снег. Ему жаль было до боли в сердце этих легко одетых пареньков, в тибетейках, с ушами, обвязанными поясным платком, в рваных, латаных-перелатаных сапогах и старых ичигах с калошами, в ботинках с рваными носками. Хорошо еще, что на большинстве была обувь,

оставшаяся от отцов, и можно было навернуть на ноги все тряпки, что были под рукой и какие дали гостеприимные хозяева. Как ни медленно, по мнению Курбана-ата и Камилла, грузился караван, из аула выехали, когда на небе еще видны были побледневшие звезды.

Во главе каравана ехал Курба-ата, посредине — Машраб и Акмаль, в конце — Камил и Кучкар. У каждого под командой было по двадцать погонщиков.

Дорога под снегом странно преобразилась. Пушистый снег висел на ветках чинар, бурные ручьи покрылись у берегов льдом, и над темной полоской чистой воды поднимался пар. На белых скалах стояли зеленые ели в снегу, как в хлопьях ваты. От быстрой ходьбы согрелись. Кто-то даже снял с головы платок, распахнулся.

Дорога поднималась к перевалу. Камил, объезжая караван, с тревогой поглядывал на ноги погонщиков, на их промокшие штанины.

— Быстрее, друзья! Поторапливайтесь, джигиты! — крикивал он.

На выступе скалы, пропуская караван, стоял Курба-ата. Он подъехал к Камилу, сказал:

— Взгляни на ишаков, Камилджан, как бы не залегли в Яманташе.

— Что же делать, отец? Нельзя же останавливаться, замерзнем.

— Надо дать ишакам по тибетейке зерна.

Камил поглаживал ноющую руку.

— Обвинят в разбазаривании зерна, — сказал он.

— Кто думает о волосах, когда опасность угрожает голове?

— Вы правы, отец.

Решили подкормить ишаков на перевале. Животные шли, оскользываясь заледеневшими копытами. Курба-ата, проезжая в голову каравана, крикивал:

— Вперед, джигиты! Чапаев говорил: пока джигит идет вперед, он джигит!

Верхом на ишаке, в своей неуклюжей фуражке, с покрасневшим от холода мокрым носом, сам Курба-ата меньше всего был похож сейчас на джигита. Но никому и в голову не пришло посмеяться над этим многое повидавшим на своем веку стариком.

На этот раз Яманташ доказал, что не зря носит такое название. Узкое извилистое ущелье насквозь продувало холодным ветром. После короткой остановки на перевале



подкормили ишаков и сами съели по мерзлой лепешке; погонщики немного приободрились. Надолго ли?

Вот и первый брод, о котором со страхом думал Камил. Из-за подтаявшего днем снега вода в речке прибыла и широко разлилась по ущелью. Тонкий лед легко дробился под копытами, и речку удалось перейти, не снимая с ишаков поклажи. Только погонщики, идя по колена в воде и придерживая мешки, так промокли, что у них не попадал зуб на зуб.

Так перешли четыре брода, а дальше пошло еще хуже.

Ущелье сузилось. Стиснутая заледеневшими берегами вода рвалась и редела. Брошенные с размаха камни не разбивали лед — он только трескался. Едва ступив на лед, ишаки падали и дальше ни за что не хотели идти. Нечего было и думать перевести их на ту сторону с грузом. Никто не заметил, что Кучкар оказался в голове каравана. Во всяком случае, Машраб не помнил, чтобы Кучкар его обогнал. Молча сняв мешок с упавшего ишака, Кучкар, оскальзываясь на льду, мокрыми ногами, вошел в воду. Он шел с мешком на плече, крича и поджимая то одну, то другую ногу.

— Ай, ай, ай! Вот это речка — кипит, как самовар! Кто замерз — давай греться...

— Молодец, Кучкар! Молодец! — крикнул Камил.

А когда за Кучкаром в речку полез Акмаль, слегка согнувшись под тяжестью мешка, Машраб тоже не выдержал, взвалив на плечо мешок, пошел к броду.

Какой-то мальчишка перевязал потуже большую руку Камила. Камил здоровой рукой ухватился за мешок с одной стороны, мальчик с другой, и они пошли к воде.

Никто не приказывал, никто никому не давал распоряжений. Сами собой образовывались пары и переносили мешки. Курбан-ата с Информбюро набрали сушняку и разожгли костер. Мокрые погонщики, стуча зубами, бежали к огню. Старик смотрел на них слезящимися глазами, потом сказал:

— Идем, сынок, к следующему броду. Разложим джигитам костер.

Но когда подошли к броду и снова увидели прибрежный лед, всем стало ясно, что его не преодолеть. Бодрости и силы не придавал и костер, который уже горел на другой стороне. Кучкар, стуча зубами от холода и отчаянья, неожиданно поднял над головой огромный осколок глыбы.

— Или ты расколешься, или я,— крикнул он и грохнул камень на лед.

Лед треснул. Это был выход. Ишаков перегоняли через брод, поддерживая мешки с двух сторон, а потом бежали, чтобы согреться, до следующего брода. Чем ближе был выход из ущелья, тем мельче становились броды.

При выходе из ущелья горели костры. Их разжег Курбан-ата. Было похоже, что старик просто железный. В фуражке, падвинутой на уши, с покрасневшим от холода носом, он один оставался невозмутимо-спокойным. Неторопливо перешагивал от костра к костру, подбрасывая в них ветки. Ему помогал Кучкар. Даже Камил захромал и шел через силу, прижав к груди большую руку и покачиваясь. На своего инокходца он давно посадил Информбюро.

Пламя костров металось на ветру так, что к ним невозможно было подойти. Костры были маленькими, и не было смысла ждать, пока они прогорят, чтобы воспользоваться жаром углей: какие могли быть угли от этих жалких костров? До горного аула, в котором останавливались на ночлег, оставался час хода. Мальчишки беззвучно плакали, даже не пытаясь скрыть слезы, и бежали за ишаками. Ишаки шли и шли, размеренно переставляя ноги и покачивая в такт головами, точно заведенные. И от этой размеренности казалось: не будет конца дороге.

Машраб совершенно выбился из сил. Он то и дело отставал от ишака и тогда бежал, боясь, что не догонит и останется один на дороге. Его качало из стороны в сторону, он падал и с трудом поднимался. Ему не было холодно. Наоборот, жар заливал голову, слепил глаза. Ему начали мерещиться в темноте огоньки аула. Он рвался к ним, но они стояли на месте. Поэтому, когда на дороге появились люди с фонарями, он отнесся к ним совершенно безразлично, как к призракам.

Ноги ишаков по ступицы грузли в морозном месиве. Тополя на плотине, улицы кишлака, плоские крыши домов были присыпаны снегом. Сверху, с дороги, кишлак казался пустынным, словно вымершим. Только от плотины к кладбищу поднималась какая-то процессия — черная на белом снегу. Голова процессии уже приближалась к кладбищу, конец ее был еще на плотине.

— Кто бы это умер? Очень много идет народу,— сказал Курбан-ата.

На таком расстоянии ничего нельзя было разглядеть, кроме арбы в голове процессии.

— Хоронят не узбека, — снова сказал Курбан-ата. Казалось, его одного заинтересовали похороны. Но это только казалось.

Ишаки, почувствовав близость дома, и без того прибавили шаг, а теперь, понукаемые погонщиками, почти бежали. Машраб с Акмалем и Кучкаром, которые шли по бокам, готовые ему помочь, вышли к обочине, повернув на дорогу к кладбищу. Для узбекских похорон процессия шла слишком тихо, и покойника несли не в саване, а везли в гробу, на арбе. Ребята подошли к процессии, когда она уже вошла на кладбище.

— Кого хоронят? — спросил Кучкар.

Люди молча проходили мимо, и Кучкар снова спросил пожилого узбека:

— Кого хоронят, ата?

— Русскую учительницу...

Кучкар и Машраб в это время увидели впереди девочку из девятого класса и побежали на кладбище. Машраб сразу же запыхался, и его обогнал Акмаль.

— Посиди, Дивана, сейчас вернусь! — крикнул он.

Рядом с Машрабом на камне сидела старуха, она, очевидно, тоже устала и не могла дальше идти.

— Почему же она к мужу не уехала? — спрашивала старуха молодую женщину. Машраб очень хорошо ее знал. Женщина работала в сельпо и была в бригаде «интеллигентов».

— Не успела, — сказала она.

— Не успела! Муж ждет, а она не успела!.. Как болезнь называется? — Старуха говорила так, словно была недовольна поведением умершей.

— Двустороннее крупозное воспаление легких. Организм сильно ослаб от недоедания, она же блокаду перенесла в Ленинграде, — ответила женщина.

Старуха сказала:

— Не слышала такой болезни.

Мимо на кладбище проходили люди. Кто-то сказал:

— Ишак-караван вернулся.

— Когда?

— Сейчас встретил на плотине...

Старуха тяжело поднялась, опираясь на руку молодой, шаркая кавушами, пошла на кладбище.

Машраб окликнул женщину, спросил:

— Кто умер? — ожидая и боясь услышать ответ.

— А, Машрабджан! Вернулись? Гостья вашей бабушки умерла. Серафима Федоровна...

Машраб почувствовал, как у него задрожали ноги, и он как стоял, так и сел на обочине. Ничего неожиданнее и нелепее этой смерти невозможно было придумать. Сидел и подсчитывал, сколько дней они не были в кишлаке. То выходило, неделю, то полторы. Резало глаза, мысли путались, он чувствовал, что возвращается жар. Про себя он твердил одну и ту же фразу: «Вчера была жива, а сегодня умерла». Каким образом неделя в его сознании превратилась в один день, было непонятно.

Машраба нашла Мастура, потом Акмаль привел Муяссар.

Мастура спросила:

— Где Кучкар? Одни мы его не доведем...

— Кучкар остался с Ларисой, — сказала Муяссар.

— Правильно! Нельзя оставлять Ларису одну, — сказал Машраб. — Я тоже пойду к Ларисе.

Он попробовал встать. Его поддержали Мастура и Акмаль.

— Ты пойдешь домой, — сказала Мастура.

Пальцы Муяссар были горячие и чуть влажные, когда она взяла его за руку. Во всем теле была необыкновенная легкость, и ноги были легкие, и Машрабу казалось, что он куда-то летит. А со стороны было похоже, что он пьяный и его ведут по дороге Мастура и Акмаль.

— Не может быть, чтобы вчера человек был живой, а сегодня умер, — сказал Машраб.

— Он бредит, — сказала Муяссар. — Что же будет?

Машраб хотел сказать, что совсем не бредит, но ему лень было ворочать языком. Время от времени Машраб останавливался и делал попытку вернуться на кладбище.

— Зачем было в снег, в слякоть ездить в город? Столько горя, столько горя, — говорила Мастура.

— Она хотела быстрее отправить посылку, — сказала Муяссар.

— Не может быть, чтобы вчера человек был живой, а сегодня умер. Я должен взглянуть. — Машраб хотел повернуть к кладбищу, но Акмаль силой увлек его по дороге в кишлак.

Дома его уложили в постель, и Мастура поила его чаем, обняв одной рукой за плечи.

— Какую посылку отправляла Серафима Федоровна? — спросил Машраб.

Мастура и Муяссар переглянулись.

— В Ленинграде открылся после блокады институт, в котором работала Серафима Федоровна. В кишлаке собирали продуктовую посылку для преподавателей, — сказала Муяссар.

— А что было дальше? — спросил Машраб.

— Дальше? Серафима Федоровна повезла на арбе груз в город. Пока проверяли и оформляли посылку, пока вернулась в кишлак, мокрая и продрогшая, простудилась... А сейчас спи! С тобой посидит Муяссар!

После похорон дом Махир-буви притих. Лариса почти не выходила из комнаты. От отца пришла телеграмма. Он не мог приехать, выслал Ларисе документы и деньги на дорогу. Но ехать у Ларисы не было сил.

Машраб тоже лежал в постели, хотя на другой день после похорон жар спал и он чувствовал себя неплохо, только оставалась слабость. Врач сказал, что ничего страшного, просто сказалось переутомление и сильное нервное напряжение.

Связными между двумя домами были Акмаль, Муяссар и Кучкар. Кучкар появлялся и молча садился у постели Машраба. Он сильно похудел, обветренное, почерневшее лицо его возмужало, и весь он как-то изменился, поугрюмел. Через два дня он собирался проводить Ларису до Ташкента и уже взял у военкома Абубакирова разрешение отлучиться на несколько дней. Акмаль тоже приходил унылый, как в воду опущенный, хотя все складывалось в его семье неплохо: от отца пришло письмо, что документы уже получены и Ларисин отец хлопчет о его демобилизации. Машраб приглядывался к своим друзьям, и ему все казалось, что от него что-то скрывают. Через два дня, выйдя под вечер во двор, он поджидал друзей. Скучая, выглянул за калитку. Где-то в кишлаке наигрывали на бубне: банг, банг, гуж-банг.

Не успел Машраб дойти до айвана, как во двор торопливо вошли Кучкар с Акмалем. Обычно сдержанный, молчаливый, Акмаль был возбужден.

— Где вы пропадали? Что за праздник в кишлаке? — спросил Машраб.

— Свадьба Гульчехры. Этой пустозвонки! — сказал Кучкар.

Акмаль сел, но тотчас вскочил.

— Чего ты мечешься, чего мечешься? — закричал Кучкар. — Или плюнь на нее, или пойдем и отколотим Ядгарбека, тебе же легче будет.

Акмаль схватился руками за голову.

— Глупости — бить Ядгарбека. Это не поможет, да и гости не допустят, — сказал Машраб. — Если уже идти на свадьбу, то с дутаром. Придем и споем вероломной «Обманула-ушла». Если она хоть немного любит Акмаля и у нее есть совесть, мы уведем ее со свадьбы...

Кучкар искоса следил за Акмалем. Тот по-прежнему сидел, обхватив руками голову, но, кажется, внимательно прислушивался к словам Машраба.

— Ты же больной? — не то сказал, не то спросил Акмаль.

— Чепуха, я уже здоров!

— Молодец, Дивана! Хорошо придумал. Сделаем это дело, и я со спокойной душой уеду завтра в Ташкент.

— Я не пойду, — сказал Акмаль и как-то странно пошевелил длинным носом.

— Почему? — крикнул Кучкар. Акмаль молчал. — Ты что, пшена в рот набрал? Боишься обидеть эту вертихвостку?

— Да, боюсь!

— Ну и черт с тобой! Я пошел к Ларисе.

В дом к Махира-буви пошли втроем.

Кучкар хотел пройти прямо к Ларисе, но из гостиной вышла Махира-буви.

— Не ходи, сынок, — сказала она. — Лариса собирала вещи, а сейчас уснула. Пусть отдохнет перед долгой дорогой. Как ты себя чувствуешь, сынок? Не рано ли начал выходить?

— Хорошо, бабушка. Я уже совсем здоров.

— Когда ты уехал, я поставила немного проса на бузу. Думала, приедешь усталый, а буза из проса — лучшее лекарство. Идите в комнату, я сейчас.

Все трое уселись вокруг сандала, грея под одеялом ноги. Махира-буви внесла чугунный котел с дымящейся похлебкой.

— Где же буза, Махира-буви? — разочарованно спросил Кучкар.

— Сначала поешьте, а буза будет. — Она разлила в касы похлебку, вышла и вернулась с кувшином, который тоже поставила на сандал, и подала пивалушки.

Похлебка была горячей, и пили ее, обжигаясь. Кучкар

все время косился на кувшин. До этого никому, кроме него, не приходилось пить бузу — этот легко пьянящий напиток. Машраб налил себе пиалу и выпил. Что-то горячее, горячее похлебки, разлилось по телу, согревая душу. Кучкар и Акмаль тоже выпили. После второй пиалушки Машраб слегка захмелел. Если бы не убитый вид Акмаля, ему было бы совсем весело.

Когда он еще не был уверен в любви Муяссар,— а это было совсем недавно,— он любил представлять, как он вернулся с фронта в день свадьбы Муяссар. С верными друзьями и с дутаром он пошел к ней на свадьбу и спел «Обманула-ушла», и зачарованные гости слушали, затаив дыхание, а для Муяссар раскрылась глубина его любви, и она, сбросив венчальную фату, на глазах у всех бросилась в его объятия. После третьей пиалы бузы эта картина показалась Машрабу особенно трогательной.

— Послушай, Акмаль! Пойдем на свадьбу,— сказал Машраб.

— Конечно, толстяк, пойдем! Узнаешь, по крайней мере, любит она тебя или нет, и перестанешь мучиться.

Акмаль молчал, но по его блестящим глазам Машраб и Кучкар поняли, что буза сделала свое дело.

Они открыли окно, выходящее в переулок, и тайком от бабушки выбрались на улицу.

Ясное небо усыпали звезды, но все равно было темно. Лишь на дувалах и на крышах белел еще не растаявший снег. Там, где был дом Чавандаза, слышался бубен и шум свадьбы, а весь остальной кишлак точно вымер, будто своей тишиной не одобрял веселья.

Чем ближе подходили к дому, тем слышнее были глуховатые удары бубна: гуж-банг, банг, гуж-банг!

По дороге зашли к Машрабу и взяли дутар. Потом поднялись в центр кишлака и внизу, в проулке, увидели горящий костер.

— Кажется, невесту привезли,— сказал Кучкар и прибавил шагу.

Сад Чавандаза был расположен у подножия холма, вблизи старой крепости. Освещенный фонарями, подвешенными на ветвях деревьев, он выделялся в черном провале ночи. Фонари раскачивались, по саду ходили люди, и тени их металась между деревьями. Машраб прыгнул в сад и стал настраивать дутар.

— Надо так спеть, чтобы у гостей зарыдала душа, а у Чавандаза пробудилась совесть,— сказал он.

Машраб запел, и голос его, приглушенный волнением, дрожал:

Меня не оценят красавица та,  
покуда ее не настанут года...

Кучкар прибавил грустным басом:

Поймет опа, что меня сводит с ума,  
не раньше, чем сможет влюбиться сама...

Но голос Машраба и Кучкара перекрыл Акмаль: у него неожиданно оказался пронзительный тенорок.

Еще молода, уже не верна,  
в отчаянье я — не видит опа.  
И что ей все стоны, печаль или боль,  
покуда не знает, что значит любовь?..

Они шли по саду: Машраб, Кучкар и Акмаль. Люди у котлов с пловом приняли их поначалу за приглашенных на свадьбу певцов. Но когда они вышли к свету, откуда-то появился подвыпивший Кур-Шермат и долго смотрел на них.

— Это вы, мошенники? — спросил он.

Друзья не обратили на него внимания. Машраб самозабвенно пел. Он увидел в огне гостиной Барно в атласном платье, с волосами, заплетенными в одну косу. У Машраба даже пальцы задрожали, когда он ее увидел. Ритмично, с вибрацией щелкали струны дутара.

Чуть глянет — душа моя тает, слаба,  
промолвит — мне кажутся песней слова,  
и взор ослепляет лица белизна,  
пока его в косах не спрячет она...—

изливался в песне Машраб.

Барно качнулась и отошла от окна. На айван вышел Чавандаз, подошел к перилам.

— Это что такое? Что за безобразие? — крикнул он.

На айване появился Эртаев, а за ним подвыпившие гости. Эртаев подошел к Чавандазу:

— Кто здесь? Что за шум?

— Полюбуйтесь на них... Хотят расстроить свадьбу!

Эртаев слегка поклонился и заглянул вниз. Машраб стоял чуть впереди, задрал голову, а рядом вытягивали шею, чтобы лучше видеть, Кучкар и Акмаль. Эртаев смотрел на них, они на него.

— А-а... Старые знакомые! Выгнать и составить акт. Привлечем за хулиганство!

— Кучкар! Сыночек! Берегись! — крикнула Фатима.



Со стороны сада во главе с Кур-Шерматом выбежало человек семь. Дутар полетел в сторону. Руки Мапраба оказались заломленными за спину. Кучкар кого-то боднул головой. Акмаль перекинул через себя верзилу так, что слышно было, как он плашмя ударился спиной о землю. Но все оказалось напрасным, и друзья опомнились, когда за ними захлопнулась калитка и они оказались в темном переулке между двух высоких дувалов. Каждый из них по очереди пнул калитку ногой.

— Выйдем — ноги переломаем! — пообещал с той стороны Кур-Шермат.

Хмель от бузы выветрился. Слышно было, как уходили от калитки, смеясь и разговаривая, гости во главе с Кур-Шерматом.

Камил и Инобат возвращались из города с заседания райисполкома. Временами срывался снег, засыпал дорогу и таял, перемешиваясь с грязью. За холмом Караул-тепа лежали голые, пустынные поля, белели островками пласты снега, сиротливо стояли в борозде брошенные сеялки, напоминающая, что сев озимых еще не окончен.

Об этом говорили и на исполкоме. В сообщении Эртаева это звучало так, что нерадивые, неоперативные руководители колхозов сорвали дело огромной государственной важности. Эртаев все свел к тому, что по вине Камилы и Инобата стране и армии грозил голод. Были колхозы, которые даже не начинали сев из-за того, что не было семян. Но, по словам Эртаева, выходило, что все зло в колхозе «Путь Ленина».

На заседании исполкома был Умаров.

— Мрачную картину нарисовал нам товарищ Эртаев, — сказал он. — Давайте думать, как выправить положение.

Слово попросил Камил.

— Эртаев, — он нарочно не произнес слова товарищ, — говорил о нерадивых, неоперативных руководителях. Но кто же он сам?

Камил удивлялся спокойствию, с которым произносил слова. Он смотрел прямо перед собой и говорил то, что хорошо продумал и взвесил в эти дни.

— В то время, как рядовые люди самоотверженно трудятся, Эртаев только и делает, что понукает их. Люди для него ишаки, которых сколько бьешь, столько едешь. Мне

говорят: нужны факты, доказательства. Все у нас в кишлаке знают, что Эртаев развратничает с женой фронтовика. Мне говорят: докажите! Назвать улицу и номер дома, где они встречаются?

— Та, о которой вы говорите, будет моей женой! — крикнул Эртаев.

Умаров бросил на него быстрый взгляд. Камил продолжал, будто ничего не слышал:

— Эртаев поддерживает воров, помогает укрывать от армии нужных ему людей, посылая взамен их других. Мне говорят: это случайная ошибка, к которой Эртаев не имеет прямого отношения. Почему так защищают Эртаева? Говорят, он умеет работать. Что значит работать? Погонять? Многие здесь сидящие помнят, как Эртаев настаивал на дополнительных поставках. Но что он сделал, чтобы вовремя был завезен семенной фонд?

— Надо было раньше поехать за семенами, и вы бы не сорвали посевной, товарищ Джалалов! — крикнул Эртаев.

Камил и Эртаева прервал Умаров:

— То, что вы говорите, очень серьезно, товарищ Джалалов. Бюро райкома обязательно этим займется. Но сейчас поставлен вопрос о срыве сева. Мы не имеем права уклоняться от его решения. В этом товарищ Эртаев прав. — Умаров говорил очень тихо и спокойно, тем самым подчеркивая категоричность сказанного и заранее предупреждая возможную перепалку.

Камил вытер мгновенно вспотевший лоб и сел.

Инобат повернула коня с дороги. Иноходец ступил передними ногами на набухшую влагой пахоту, рванулся и, не слушая повода, вынес Инобат на дорогу. Инобат и Камил спешили, прошли несколько шагов, увязая в пахоте.

— Что же делать, Камилджан? Сеять нельзя!..

Камил сжал горсть земли, выжимая влагу.

— Может быть, подсушит ветром... Но все равно, если земля не согреется, зерно сгниет...

— Когда всем плохо, сироте хуже всех, — сказала Инобат. — Обычно в это время еще бывает тепло.

Они пошли к дороге, тяжело переставляя ноги с налипшей на сапоги грязью.

Всю дорогу до кишлака ехали молча.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кучкар с Ларисой уехали. Акмаль после неудачной попытки расстроить свадьбу Гульчехры не выходил из дома. Машраб и Муяссар бродили вдвоем по улицам, и кишлак казался им пустым. Стояли ветреные холодные дни. Листья облетели, голые деревья стукались на ветру холодными, мокрыми ветвями. На плотине шумела вода, и в голых тополях чернели пустые гнезда аистов. Машраб и Муяссар чувствовали себя покинутыми.

— Чего мы повесили носы? Бывают же временные неудачи? Сколько месяцев Красная Армия отступала, а зато как теперь рванулась вперед! — говорил Машраб.

— Конечно, — соглашалась Муяссар. Но все равно обоим было грустно.

Когда они приходили к Акмалю, тетушка Салия встречала их слезами.

— Что она сделала с моим сыном, проклятая! — говорила она и поднимала к небу худые руки.

Акмаль отмалчивался и только уныло морщил длинный нос. Было непонятно, рад он или не рад приходу друзей. Машраб не выдержал, сказал:

— Что ты раскис? Кроме Гульчехры, девушек нет?

— Наверно, есть, — ответил Акмаль. — Кроме Муяссар, тоже есть девушки, но тебе же они не нужны!

Машраб быстро оглянулся: слышала Муяссар или нет? Она играла в другом конце комнаты с младшей сестренкой Акмаля.

— Пройдет год, и ты сам будешь удивляться, что горевал из-за этой пышки, — нарочно громко сказал Машраб.

— Наверное, так и будет, — покорно согласился Акмаль.

От покорности Акмаля Машраб совсем расстроился.

Вышли на улицу. Машраб сказал:

— Теперь я понимаю, почему Кучкар всегда не любил Гульчехру.

— Ты не ответил Акмалю на его вопрос, — сказала Муяссар.

— Ты же не Гульчехра!

— Дура я, совсем дура, — сказала Муяссар. — Упрекаем Акмаля, а сами раскисли...

Она робко притронулась к руке Машраба, и он сжал ее пальцы.

Всю неделю кишлак жил ожиданием: ждали повесток призывникам. Ждали, чем кончатся неприятности, нависшие над Инобат и Камплом.

Инобат каждое утро уезжала в степь. В степь она ехала рысью, камчой торопя ипоходца, а назад возвращалась шагом, и те, кто встречал ее, понимали: сеять нельзя! Прямо из степи она шла к Камплу и только потом приходила в правление.

Камил, с тех пор как вернулся из поездки за семенами, все время побаливал. На совещании в исполкоме он сидел с температурой, пересиливая недуг, но, когда вернулся домой, слег.

Машраб и Муяссар каждый день навещали его. Камил оживлялся, становился веселым.

— А-а, комсомол и поэзия! — говорил он. — Хорошее содружество!

Муяссар сначала смущалась, потом привыкла.

— Камилджан, что же это такое? Эртаев здоровый, а ты больной?! — говорил Машраб.

— Он как яблоко, снаружи здоровое, а внутри червивое. А я только снаружи больной, а внутри здоровый. Меня на трех Эртаевых хватит, — отшучивался Камил.

— Как же так получается? Почему процветают такие люди, как Чавандаз, Эртаев?

— Милые мои, когда народ занят тяжелой борьбой, где-то на задворках всегда появляется всякая нечисть: людям не до нее, — сказал Камил. — Погодите, кончится война, вернутся фронтовики, и от Эртаевых пух полетит.

— Когда вернутся и кто? На фронте гибнут лучшие люди! — сказал Машраб.

— Спасибо, Машрабджан. Значит, я — самый худший... — Камил засмеялся.

— Я не так сказал! — Машраб покраснел.

— Ничего, ничего, Машрабджан. Хороших людей больше, чем плохих. Всех не перебеешь!

Ночью Машраб проснулся оттого, что в соседней комнате с кем-то разговаривала Гульсум-апа.

Он лежал и никак не мог догадаться, кто этот человек, который так ласково говорит с матерью.

— Я понимаю, как вам нелегко, Гульсум-апа. Но я никогда не сомневался в вас, — говорил мужчина.

— Разве обо мне речь? Я боюсь за детей. В таком возрасте юноши чутки к малейшей несправедливости.

— Мы были неамного старше их, когда устанавли-

вали здесь советскую власть. А взрослеть всегда трудно. Зато в трудностях вырастают настоящие мужчины!

Машраб появился на пороге комнаты, щурясь от света. За сандалом сидел майор с двумя орденами и держал в руках пиалу с чаем. Из-под воротника гимнастерки выглядывал бинт. Машраб узнал отца Кучкара.

— А-а, джигит! Подойди-ка, подойди поближе к свету... Наша порода, Гульсум-апа. Вылитый Агзам! А вы боитесь!..

— Правда, похож на Агзама? Вы тоже это заметили? — спросила Гульсум-апа. Очень довольная, она посмотрела на Машраба.

— А моего, к сожалению, нет. Жаль, я не знал, что он в Ташкенте. Трудно сейчас оттуда выбраться...

— Не беспокойтесь, Клыч-ака. Кучкар не из тех, кто пропадет. Если бы он знал, что вы здесь! — сказал Машраб. Клыч засмеялся.

— А вот Гульсум-апа за вас боится, — сказал он.

Клыч шел по улице, а у него за плечами, как верные телохранители, маячили Машраб и Акмаль. Весть о том, что с фронта вернулся отец Кучкара, облетела кишлак. Из калиток выглядывали и почтительно здоровались женщины. Старики выходили, чтобы пожать Клычу руку и обменяться словами приветствия. Над дувалами торчали головы ребятишек, они никогда еще не видели майора, самым крупным военным чином, преезжавшим в кишлак, был капитан Абубакиров.

К ночи повернул ветер, и казалось, в кишлак снова вернулось лето с его теплом и солнцем. Только пустые гнезда аистов в голых тополях напоминали о зиме.

Возле плотины Клыч сказал:

— Хоп! Вы, ребята, идите. Я хочу один побродить.

Машраб и Акмаль присели на плотине, греясь на солнце, и смотрели, как Клыч шел по улице в правление колхоза.

Он поравнялся с кладбищем, обогнул мечеть — места, памятные по годам гражданской войны. Вернулся к дому, где провел детство. Прав ли он был, покинув эти места? Сейчас это уже не имело значения. Надо было решать, как поступить теперь, принимать предложение обкома оставаться в районе или нет. Когда-то он уехал отсюда, потому что не мог пережить измену жены. Но то все личное, давно приглушенное временем...

Клыч снова вышел к плотине. Издалека увидел сидя-

щих на солнце Машраба и Акмаля, помахал им рукой, и они вскочили, готовые следовать за ним. Он засмеялся. Эта готовность ребят как-то сразу решила все его сомнения. Он свернул в проулок и вышел к правлению.

В правлении Инобат собрала стариков и советовалась, можно ли начинать сев. Одни старики, во главе с Курбаном-ата, считали, что, раз снег растаял и светит солнце, можно сеять, другие сомневались, говорили, что земля холодная и зерно погибнет.

Инобат обрадовалась приходу Клыча.

— Что вы посоветуете, Клыч-ака? — спросила она и лукаво прищурилась.

— Откуда мне знать такие тонкости, я человек военный, Инобатхон! Наверно, лучше запросить совет районного начальства...

— Вот я и спрашиваю вас, Клыч-ака...

Клыч засмеялся. Кажется, Инобат уже знала о предложении, которое ему сделали в обкоме.

— Я бы подождал пару деньков, пока согреется земля, — сказал он.

— Спасибо, Клыч-ака, так и сделаем. Хочу поделиться с вами радостью. Получила письмо. Через пару дней приезжает Палван.

— Э-э... Это не только ваша радость, Инобат! Слетаются соколы!..

В кабинет вошел Камил. Раненая рука его была туго забинтована, щеки ввалились, а глаза блестели, как бывает при высокой температуре. Увидев майора с золотыми погонами, он смутился.

— Не узнаете, Камилджан?

— Как же не узнаю, Клыч-ака? Здравствуйте. Очень хорошо, что приехали.

Он неловко протянул левую руку, и Клыч долго ее не отпуская.

— Опять ходишь с температурой, Камилджан? Что мне с тобой делать? — спросила Инобат.

Камил достал из кармана гимнастерки сложенное треугольником письмо.

— Как я мог не прийти? Вот, читайте, — сказал он.

Клыч сидел ближе всех к нему и взял письмо. Оно было написано простым карандашом, некоторые буквы стерлись. Клыч некоторое время читал про себя, с трудом разбирая слова, потом сказал:

— Э-э... Такое письмо надо читать вслух...

«Уважаемому и дорогому нашему брату Камилджану Джалалову. Пусть станет известным, что мы, Эшмат, сын Мумина, кушая здесь посланный богом хлеб насущный, вот наконец прибыли на фронт и просим аллаха, чтобы вы были живы-здоровы.

Дорогой брат мой, Камилджан!

Так уж, видно, на роду написано — сегодня ли, завтра мы идем в самое пекло. Сами вы знаете, что такое война. Вернусь ли живым, увидимся ли мы с вами — суждено знать одному аллаху. Но у меня на душе есть одна невысказанная исповедь.

Пусть простит меня всевышний, братец Камилджан, сделал я много недобрых дел, много натворил зла. Вместо меня отправили в трудовой батальон Эшмата-ака. А я нужен был здесь. Я занимался воровством колхозного добра, сводничал, жульничал, жил в свое удовольствие. Но сам аллах свидетель, дорогой братец, я делал все не столько для себя, сколько для Эртаева и Чавандаза. Что бы я ни добывал, все уходило в их ненасытную утробу. Мне они обещали: спасем тебя от фронта. А я, смертный, вскормленный на сыром молоке, поверил. Но когда случилась беда, во всем оказался виноват я, они остались беленькими, как хлопок. Вы можете спросить меня, братец Камилджан, какая моя цель? Почему я признаюсь в этом теперь? А вот какая. Если останусь жив, сам поговорю с этими подлецами, а если умру, пусть не останутся злодеи без наказания и пусть не уйдет вместе со мной в могилу моя боль...»

Старикки переглядывались, качали головами. Курбан-ата вскочил и снова сел.

— Дальше идут душеспасительные излияния и просьба не оставлять без присмотра детишек,— сказал Клыч и сложил письмо.

— Когда грабили крестьян, Чапаев стрелял за мародерство.— Курбан-ата встал, надел фуражку.— Дай мне письмо, Клыч! Я пойду поговорю с Чавандазом,— сказал он.

Клыч положил письмо в карман гимнастерки.

— Нет, Курбан! С Чавандазом буду разговаривать я! И не только с ним...

Старикки еще сидели у Инобат, молчаливые и растерянные, а сторож уже докладывал в кабинете Чавандаза:

— Пришел Клыч-ака! Велел доложить.

— Какой еще Клыч-ака?

— Тот самый... Майор, герой войны, о котором весь кишлак говорит...

— Зачем пришел? Что ему надо?

— Это вы у него спросите, раис-ака,— сказал сторож и пошел к двери.

Чавандазу показалось, что сторож усмехнулся. Не надо было, конечно, притворяться, что он не знает, кто такой Клыч, когда со вчерашнего дня только и думал о его приезде.

Чавандаз вышел на середину комнаты в шапке из коричневой смушки, с камчой в руке. Пусть видит, что для долгих разговоров нет времени.

Клыч вошел, поздоровался, но Чавандаз словно не слышал приветствия, смотрел на орден и нашивки о ранениях на гимнастерке гостя. «Если бы иметь хоть один орден, одну нашивку, я бы знал, как с тобой разговаривать»,— подумал он.

— Я пришел поговорить с тобой, Халмат-бай,— сказал Клыч.

Обращение «бай» немного успокоило. Во всяком случае, Клыч, видимо, понимает, что значит общественное положение председателя кишлачного Совета.

— Очень хорошо, Клыч... Я сам хотел зайти. Потом подумал: будет ли вам это приятно? И Гульсум-апа, у которой вы остановились, не очень меня любит...

— Прощлым делам прощение! — перебил Клыч.— Прочти-ка для начала это письмо...

Клыч бросил письмо Эшмата на стол.

Чавандаз с минуту смотрел на письмо, потом снял шапку, сел за стол. Клыч тоже присел к столу, не спуская с Чавандаза глаз. Чавандаз читал, а Клыч изучал его поплиевшее лицо с двойным подбородком, морщины на щеках с залысинами лбу. Лицо хмурилось, на мгновение Чавандаз поднял глаза, и Клыч уловил в них выражение затравленности. Чавандаз продолжал читать, и на губах его играла злобная улыбка.

— Ложь, клевета! — крикнул он и хотел разорвать письмо, но Клыч перехватил и сжал его руку.

Оба медленно поднялись, в упор глядя друг на друга. Чавандаз неожиданно усмехнулся.

— Послушай, Клыч-бай! Я не думал, что ты стал за эти годы провокатором. Собираешь мелкие факты? Лучше скажи прямо: мстишь за Фатиму?! — Чавандаз разжал кулак, и письмо упало на стол.— Этим письмом займется



прокуратура. Саморазоблачение вора. Он решил оклеветать Эртаева за то, что тот пресек его хищения. Неблаговидными делами занимаетесь, товарищ майор!

— Ловко! — Клыч засмеялся. — Понятно, почему ты столько лет процветаешь! Но теперь все, Халмат-ака, теперь твоя наглость тебя не спасет. В одном могу тебя утешить: отвечать будешь не один, вместе с твоим покровителем Эртаевым!

Когда Клыч вышел, в коридоре почему-то оказался сторож.

— Поговорили, Клыч-ака? — спросил он.

— Поговорили, отец!

— Вот и хорошо, а то они тут совсем распустились.

Из-за дувалов пахло пловом. Все кишлячные собаки бродили по улицам и облизывались. Накануне седьмого ноября кончили озимый сев, и колхозникам выдали по килограмму риса и по два килограмма бараннины. Призывники получили повестки, и к праздничному настроению прибавилась горечь расставания. Но всю полноту этой горечи испытывали только матери. Сами призывники после проводов, которые устроил колхоз, собрались на свою вечеринку и всю ночь веселой ватагой бродили по кишлаку, пугая собак. Давно уже кишлак не был таким шумным и оживленным.

Махира-буви с молодых лет славилась умением варить плов.

— Я уже забыла, когда в последний раз варила плов, — говорила Махира-буви, помешивая в казане баранину.

Гости собрались в гостиной. Пришли Клыч с Кучкаром: после возвращения Кучкар как тень ходил за отцом. Пришли Инобат с приехавшим Палваном. Когда она вошла в гостиную рядом со своим громадным мужем, видно стало, какая она маленькая и худенькая.

Впервые в жизни Машраб и Кучкар сидели вместе со взрослыми. Захмелевший Курбан-ата поманил пальцем Машраба и вышел с ним на айван.

— Ты молодец, — сказал Курбан-ата. — Ты пошел по дороге отца и напомнил мне мою молодость...

Машраб слушал и не мог понять: неужели только для того, чтобы сказать это, старик увел его сюда?

Сердце гулко билось от волнения.

Курбан-ата долго кашлял. На глазах у него выступили слезы. Он глубоко дышал, чтобы успокоиться.

— Ты, кажется, знаешь мою дочь, — сказал он. — Ме-

жду прочим, она неплохая девушка. Умница, комсорг. Ну и красивая. Так, по крайней мере, мне говорят... Одним словом, запомни: до твоего возвращения буду гнать к шайтану всех сватов.

Машраб не знал, что ответить, а Курбан-ата и не ждал его ответа. Старик повернулся и пошел к гостям.

Муяссар с женщинами обслуживала гостей. Пробегая с подносом мимо Машраба, она не подняла на него глаз.

Когда Машраб вернулся в гостиную, Гульсум-апа спросила:

— Где ты пропадал, сынок? Садись.

Кто-то сказал:

— Клыч-ака хочет говорить...

Клыч поднялся с пиалой мусалласа.

— Друзья мои, давно мы не собирались вместе... Мы уже выпили все, что положено, за наш светлый праздник. Теперь выпьем за здоровье и счастье наших сыновей. Им предстоит трудное испытание. Они будут добивать на фронте врага. Но и мы, их отцы, не будем сидеть здесь без дела. К их возвращению мы должны очистить наш воздух от карьеристов, стяжателей, которые присосались к советской власти, к партии... И мы это сделаем, обещаем это вам, сыновья!..

— Сделаем! — пробасил Палван.

Курбан-ата вскочил, расплескивая вино.

— Они доказали, что могут называться даже чапаевцами!

Инобат сказала:

— Спасибо вам, мальчики! Вы уже немало сделали. Теперь вам осталось самое трудное. Пусть вам будет удача...

— Э-э, какие же они мальчики! Они заслужили право называться мужчинами! — крикнул Камил.

Машраб и Кучкар только переглядывались: они никогда не слышали столько похвал и не знали, как к ним относиться.

Машраб искал повод, чтобы заговорить с Муяссар, но она, появляясь в гостиной, даже на него не смотрела.

Когда внесли плов, пришел Акмаль. Камил увидел его, сказал:

— Вот еще один славный джигит. Иди садись.

Акмаль неуклюже присел, подбирая под себя ноги. Он был грустен, и его длинный нос уныло нависал над губой.

— Хорошо, что ты пришел, Акмальджан, — сказал Ка-

мил.— Произошли некоторые изменения. Ты не едешь в армию. Решено тебя послать на курсы механизаторов. Весной предстоит много работы...

— Эту новость надо было говорить не ему, а его матери — смотрите, он совсем пос повесил,— засмеялась Инобат.— Ничего, сынок, во время посевной у трактористов будет работы, как на фронте.

Машраб увидел на айване Муяссар. Она стояла и смотрела во двор, прижавшись лбом к резному столбу. Воспользовавшись тем, что гости отвлеклись разговором о будущем Акмаля, Машраб вышел.

— Муяс,— тихо позвал он и тронул девушку за плечо.

— Не подходи, ты пьяный!

— Кто пьяный?

— Ты пьяный со вчерашней вечеринки. У тебя не было времени поговорить со мной...

— Хорошо, я виноват, я очень виноват. Но разве время сейчас сердиться? Уйдем отсюда...

Но уйти им не дали. Мастура окликнула Муяссар, и та убежала.

Только на рассвете, когда гости стали расходиться, Машраб увел ее на плотину.

— Послушай, Муяссар, почему ты на меня не смотришь?

— Я вас боюсь...

— С каких это пор ты стала говорить мне «вы»?

— С тех пор, как вы стали на меня так смотреть...

— Как?

— После того как вас назвали мужчиной, вы стали на меня смотреть не так, как раньше...

По дороге проехала арба, вторая... Арбы выезжали из переулка и, скрипя высокими колесами, проезжали к правлению. На этих арбах через два часа должны были везти в город призывников. Машраб увидел испуганные глаза Муяссар. Запершило в горле. Неужели его убьют и он никогда больше не увидит кишлака, не будет стоять на этой плотине под тополями с опустевшими гнездами аистов, никогда больше не увидит Муяссар?.. Машраб вздохнул, будто глотнул воздуха. Нелегко быть мужчиной... Но почему-то все мальчики торопятся повзрослеть...

